С АНДРЕЕВ

ТРУДНЫЕ ДОРОГИ

ЗП

Г. АНДРЕЕВ

ТРУДНЫЕ ДОРОГИ

Товарищество Зарубежных Писателей

Мюнхен 1959

Склад издания:
Г. Андреев, ЦОПЭ-Бюро, Мюнхен 19, Ренаташтр. 77

Satz und Druck: Georg Butow, München 5, Kohlstraße 3 b, Tel. 29 51 36.

«Человек не рожден для поражений. Его можно убить, но не победить. Человек побеждает всегда».

«Старик и море»
Э. Хэмингуэй

Не знаю, как кому, а мне это совершенно необходимо, хотя бы изредка. Иначе, может, и не выдержать. И мне это не трудно: не надо даже особенно настраиваться, внутренне готовиться, наверно потому, что задолго до урочного часа я живу тайным предчувствием освобождения. Я знаю: оно неминуемо будет. И в одно из утр я просыпаюсь с чувством удивительной легкости. Легко пробуждение, легки несуматошные сборы: вещи сами попадают под руку. Набит вместительный портфель — и довольно, в таком путешествии не нужно обременять себя ничем лишним.

Стакан чаю на дорогу, оглянуться — не забыл ли чего? — и я готов. Вчера и позавчера, все вьющееся вокруг тебя и в тебе каждодневье (ты втиснут в него, как неразличимое колесико в неоглядную машину, сложенную из одних необходимостей, бессмысленно-огромно размахивающую своими маховиками и вертящую тебя в путанном, расчитанно-бестолковом ритме) остается в комнате, как ненужная одежда. К ней еще придется вернуться, это неизбежно, — я и сам не могу не вернуться, — пока пусть повисит за дверью на гвоздике.

Выхожу на непривычную мне улицу раннего утра. Немного свежо. На остановке трамвая поеживаются те, кому на работу. А мне не надо. И то, что не надо, а воздух, еще не испакощенный автомобильной вонью, прозрачен и чист — тоже тонкое и тихое удовольствие. Мне становится весело; я могу даже насвистывать что-нибудь умопомрачительно-нелепое, вроде буги-вуги. Я могу сейчас со всеми примириться и любовно, — мысленно, конечно, — даже всех обнять, во-время вспомнив, что все люди братья. А глубоко во мне шевелятся чертики. Я подмигиваю сам себе: похоже, я кого-то ловко обвожу вокруг пальца. Будто я от кого-то убежал. Обман еще не состоялся, но дело в полном разгаре и он состоится, я в этом убежден!

На вокзале покупаю билет, — кусочек картона, открывающий входы. Жаль, надо называть конечную станцию; было бы еще увлекательнее, если бы ее не знать, на худой конец, утаить. И от самого себя: такая игра стоит свеч. Но не переступить: случайный партнер в темносиней форме, за стеклянным оконцем, — разве он может участвовать в этой игре? Я капитулирую, утешаясь, что это меньшее из зол.

Может быть, со стороны, с точки зрения нормы (в чем она?), это смешно, отдает сумасшедшинкой, но я уже в поезде. Иду по вагонам, ищу свободное купе. В голове легкое кружение: могу делать, что хочу, ехать, куда хочу, ходить, где мне нравится, видеть и не видеть людей, уходить от них и от самого себя, отдаваясь тому, что ни к чему не обязывает и, допускаю, никому незачем не нужно. Это-то и хорошо! И не на один, а на много дней! Может, даже до бесконечности: а что, если возьму и не вернусь? И чувство отрешения растет, когда поезд трогается: мосты сожжены, концы отданы...

Закрываю глаза. Пусть отгрохочет на вокзальных стрелках, промелькнут пригороды и дачная смесь, которую я не люблю: ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Поезд вырывается из городской ловушки, — я опускаю окно, с наслаждением высовываю голову.

Ветер дыбит волосы, рвется в легкие. У самого полотна ершится щетка седой травы: ночью был мороз. Пробежала деревушка — теневая сторона ее черепичных крыш вымазана белым, с другой иней уже слизало солнце. Солнца не видно, оно у меня за спиной, но я чувствую, какое оно еще горячее, летнее. Черные тени телеграфных столбов прыгают назад и выскакивают навстречу; по откосу без устали мчится густая тень поезда.

Промелькнуло приплюснутое здание, с надписью, во всю стену: «Корнхауз». Я бы предпочел вытянутый в синь неба элеватор, где-нибудь в наших местах. И чтобы вместо этих аккуратных станций проплывали другие, скажем — Алексиково, Аксай, Зимовники. Чего стоит одна музыка слов! И не нужно бы этого пронзительного, такого европейского, поросячье-железного визга тормозов. Хорошо бы сидеть не в этой узкой крысоловке, а в нашем просторном вагоне. Покачиваясь, он неторопливо вез бы тебя по нескончаемым степям, пропахшим горечью полыни, ромашки, ковылем. По степям, спешить по которым некуда и незачем: давным-давно ведь

сказано, что каждое путешествие, какое бы оно ни было и куда бы ни вело, рано или поздно приходит к концу.

Но я не ворчу. Я доволен обманом. Озорное чувство не оставляет меня. Поезд грохочет. И чувствуя себя частью его, брошенной вперед, я готов крикнуть паровозу:

— Давай, милый, наддай, наддай!..

Я в недоумении отхожу от окна. Что случилось? Мне показалось: когда-то, очень давно, мне также хотелось высунуться из окна и кричать то же самое. Когда это было и было ли вообще? Это ведь бывает: скажешь слово, сделаешь жест — и на миг тебе покажется, что точно такой же жест ты уже делал однажды, а когда, вспомнить невозможно. Ты хорошо знаешь, безошибочным чутьем, что делал этот жест, но у тебя ощущение, будто ты делал его сто, двести, может быть и тысячу лет назад, не в этой даже, а в какой-то другой жизни. Глупость, конечно, но упрямо кажется, что ощущение твое верное. Может, этот жест сделал твой дед, прадед, почем знать? У меня в таких случаях на секунду — тревожное чувство, будто я прикоснулся к неразрешимой тайне.

Ничего таинственного нет. Я вспомнил. Ну, да, после трех лет в тайге конвой привел нас и посадил в арестантский вагон. И когда я забрался в тепло, в тьму верхней полки и через несколько минут почувствовал полет поезда, я опьянел от радости. В коридоре, за решеткой, покачивался штык конвойного — мне не было до него никакого дела. Мысленно я высовывался из окна и кричал паровозу: «Давай, милый, жми, вперед!» Тогда я тоже знал: мосты сожжены.

Это не плохое воспоминание. Но от него трудно отделаться. Оно тянет за собой нитку, с болтающимися на ней обрывками других воспоминаний, требующими, чтобы их подобрали по порядку, привели к какому-то итогу. Как будто можно подвести итог. Я закуриваю, выхожу в коридор.

В купе незаметно, а здесь видишь, как мотает вагон: болтается из стороны в сторону длинная коридорная пустота. Я качаюсь вместе с ней. Опираюсь на стену. В нос лезет цветной лоскут: «Где хотите провести свой отпуск?» Париж, Рим, Неаполь, Афины, Мадрид, Лондон... По лоскуту ползут красные, желтые, синие линии. Одна, черным изломом сверху вниз, что-то напоминает. Я отмахиваюсь от нее. На повороте снова пронзительно завизжали тормоза. Чорт, я отлично помню такой же однажды вывернувший меня на изнанку визг!

Полночь, темный коридор, дверь. Перед дверью плотная черная фигура. Я заношу над ней длинный нож — и в уши, в грудь, в сердце ввинчивается этот ни на что не похожий сумасшедший визг... Я таращу глаза, тру лоб, вздыхаю: мне не везет. Я хорошо помню и эту жирную черту и поросячий визг. Их не забудешь. И не выкинешь из головы, даже сейчас.

С досады швыряю сигарету. Теперь нитка поползет — и скрутит крепче нейлоновой веревки. И с ней ничего не поделаешь. Пока ее не размотаешь, она не даст покоя. Что же получится с моим бегством, как уйду я в свое утлое освобождение? Игра проиграна, обман обнаружился. Впору прыгать в окно, как Подколесину.

Нет, я не сдамся. Я знаю верный способ. Пока поезд идет, у меня есть время. Я лягу сейчас на скамейку, положу под голову портфель, буду курить без передышки — и размотаю эту нитку до конца...

СЕВЕРНАЯ РОБИНЗОНАДА

В те дальние места я пришел в дни, когда зима неохотно уступала первому натиску весны. Ночью еще морозило; в полдень солнце поднималось над лесом, подтапливало снежные пуховики, искрилось в сосульках, подвешенных к веткам одиноких сосен.

В начале пути мы двигались по наезженному тракту, минуя концлагерные поселки и ночуя в редких деревнях. Еще можно было взбираться на тяжело груженые сани и ехать, бездумно удивляясь и радуясь. Всего пять-шесть дней назад я работал лесорубом и должен был остаться в лесу совсем: выхода не было. Я ничего не мог придумать, чтобы избавиться от штрафного лагеря, и знал, что больше месяца-двух в нем мне не протянуть. Не оставалось и крохи надежды. Но случилась одна из тех неожиданностей, которые никогда не предугадаешь: они всегда внезапны. Среди бела дня из чащи к месту, где работала наша партия, вынырнули розвальни — на них сидел знакомый из Управления, а около него лежал мой убогий скарб. Я не успел удивиться, как мне сказали, чтобы я садился и ехал, для меня даже неизвестно, куда и зачем. Воткнув топор в бревно, я плюхнулся в сани, не зная, радоваться или терзаться: какая еще напасть ждет меня? Знакомый тоже не знал. Через двое суток лошадка вытрусила из леса, мы добрались до города и пошли в Управление. Там мне дали пакет, облепленный застывшей сургучной кровью, и приказали идти с обозом еще дальше на север, в отрезанную летом от нас экспедицию...

Скоро кончилась укатанная дорога, поселки, деревни — мы свернули на первобытный зимник. Снег уже оседал, лошади

и сани проваливались — садиться на сани больше было нельзя. Со дня на день могли вскрыться ручьи, а возчикам надо вернуться домой и они торопились. Усталый и истощенный, я напрягал последние силы, чтобы угнатьсья за ними. И на привалах, во время кормежки лошадей, я ложился пластом, чувствуя себя будто избитым палками.

Эта дорога осталась в памяти, как утонченная смесь пытки и сказки. Сказочным было чудесное спасение: я еще раз ускользнул. Шел я туда, куда хотел и не раз просился, до того, как стал штрафником. Сказка сопровождала нас: дни и ночи был лес, никогда не тронутый человеческой рукой. Он расступался коридорами и залами невиданного дворца, возведенного с пышностью, на которую способна только природа. Свечами свисали блиставшие жемчугом сосульки, обвитые серебряной бахромой; мраморно белели опушенные снегом колонны сосен, — из-за них, пажами и фрейлинами лесных владык, выбегали молоденькие елочки, в сверкавших тысячами звезд нарядах. Стражами, похожими на седых леших, в гигантских белых шапках, стояли высокие пни сломанных бурей деревьев. А между ними, между колоннами, елочками и широкими лапами, пригнутыми книзу тяжелыми подушками белого атласа, вкрадчиво уходили вглубь синие, голубые, фиолетовые тени.

Поскрипывая, уползал обоз, а я стоял, завороженный, взволнованно смотря и прислушиваясь. Тело ломило от усталости, зудело и чесалось, подкашивались колени, но нельзя было не вслушиваться в молчание и неподвижность этого лесного сна, сплетенного из жизни и смерти. И если бы одна из елочек обернулась Снегуркой, не понимая, что делаю, без воли, не зная, зачем, кажется, я мог бы лечь у ее ног и остаться тут навсегда, раствориться в этой лесной красе, отдав ей всего себя.

Очнувшись, я ковылял дальше, торопился догнать обоз, чтобы увидеть людей, услышать их голоса: становилось жутко. Мурашками пробегал по коже страх: как бы впрямь не околдовала, не пленила эта живая и мертвая краса. Стертые в кровь ноги не слушались, резала огненная боль, но я упрямо шел, вырываясь из пут лесного колдовства.

Два дня шли буреломом, полями исполинских битв. Сосны

в два обхвата, с вывернутыми корнями, висели одна на другой; высились обломанные стволы; закрученные вихрями деревья переплетались, как ведьмы на шабаше. Что это было? Битва великанов? И опять возникало чувство твоей малости, ничтожности перед безмолвным величием лесного побоища, прикрытого слепящим саваном. А сквозь него уже торопилась, тянулась вверх, охорашиваясь снежными блестками, буйная поросль молоди.

Бурелом сменили столбы. Сколько ни смотри, одни толстые, тонкие, высокие, пониже, с обломанными вершинами прямые столбы. Внизу из сугробов снега выглядывает мешанина упавших стволов, кустарника, сучьев, — выше торчат только почерневшие обгорелые столбы, остатки когда-то давно сгоревшего леса. Тишина, слепит снег и солнце; мы идем между столбами и нет даже тени: черные ленты на снегу кажутся продолжением столбов. В душе — смутное недоумение; похоже, мы идем по кладбищу, среди мертвецов, которых забыли похоронить...

Этот путь занял две недели; под конец я обессилел и душевно. Я устал от беспрестанно менявшихся лесных видений, — разные, они сливались во что-то одинаковое и огромное, противостоящее тебе и словно обещавшее поглотить. А это рождало тяжелое, пугающее чувство, от которого хотелось поскорее уйти, освободиться, как от гнетущей ноши. И я с радостью встретил широкую реку, между высоких заросших берегов: по ее льду мы скоро доберемся к цели.

Цель открылась еще через день, из-за очередного поворота реки: на круче кто-то разбросал десяток домишек. База экспедиции. Сердце сжалось: сейчас будет дежурный по лагерю, баня, хозчасть — сдать продовольственный и вещевой аттестаты, — и снова барак. В душе шевельнулось сожаление: в лесу этого не было. Зачем же было торопиться из леса, того больше — бояться его?

На этот раз я плохо угадал. Дежурный не отправил в баню, а отвел в санчасть, в крошечный домик над берегом. Начальник санчасти, молодой приветливый врач с длинной бородой, выращенной от скуки, обрадовался мне, как развлечению. Угостив чаем, он расспрашивал меня, удовлетворяя свое любопытство, а потом смутился и сказал, что я должен пройти

карантин: в лагере, мимо которого мы проходили в начале пути, свирепствовал тиф. Напрасно я доказывал, что мы не заходили в лагерь: приказ есть приказ. Смущавшая врача сложность состояла в том, что в экспедиции не было помещения для карантина; единственная койка стационара санчасти тоже занята и меня некуда определить. Сидя в амбулатории на табурете, я пытался смеяться: редкий случай, лагерь не может принять заключенного, — а глаза слипались и хотелось лечь на пол и уснуть.

Доктор ушел выяснять, а я положил голову на стол и заснул. Вернувшись, он растолкал меня. Выход нашелся: километрах в трех по реке, там, откуда мы пришли, есть охотничья избушка — в ней и будет мой карантин. Мы отнесли мои вещи опять возчикам, — они уже сдали груз и торопились назад, — сказали, чтобы сбросили их против избушки. А я получил в каптерке сухой паек, топор, ножевку, фонарь «Летучую мышь» и, не в силах даже удивляться новой превратности, заковылял в карантин.

Уже в сумерках я увидел на снегу у санного следа свои вещи. Напротив, на высоком откосе, виднелась охотничья избушка.

Я вскарабкался по сугробам на откос, добрался до избушки, с трудом открыл занесенную снегом дверь. Сквозь закопченное окно свет почти не проходил, в избушке черно. С потолка свисали лохмотья сажи. Слева от двери — скамья-кровать, за ней столик и углом узкие лавки по стенам; справа — от стены к стене нары, в углу на них, против столика, из дикого камня печка-камелек, без трубы: избушка топилась по-черному. Над камельком в стене — дымовая дыра, задвинутая деревянной крышкой. И все это вырублено топором; стены из бревен, крыша, нары, стол, скамьи — из толстых плах, наколотых топором и клиньями. Ни одного железного гвоздя, петли; единственный признак цивилизации — закопченные стекла в окне. Но избушка казалась обжитой, она выглядела словно даже уютной.

Пахло холодной копотью, застарелым дымом. Я вздохнул, не решаясь думать, хорошо или плохо мое жилье. Можно на севере быть Робинзоном? Это все-таки жилье: крыша и четыре стены.

Сумерки сгущались, надо торопиться с топкой, а не было сил выходить, искать дрова. Я снял толстую плаху с крыши, изрубил, развел в камельке огонь, насовал побольше поленьев — сухие, смолистые, они занялись сразу, жаркое пламя вымахнуло до потолка. Избушка в миг наполнилась выедавшим глаза дымом, нельзя продохнуть — я выскочил наружу и настеж распахнул дверь.

Камелек в избушке топился, а я сидел под окном и ждал, когда он утихомирится и можно будет войти в мою хату. Пришла ночь, мороз снова прохватывал до костей, я боролся со сном, боясь, что замерзну. А когда дым вышел и я, сгибаясь, чтобы не сбить сажу с низкого потолка, вошел в избушку, охватило блаженное тепло. Груда раскаленных углей в камельке дышала жаром; стоял сухой перегретый воздух. Заперев на засов дверь, я кое-как постелил постель, разделся за две недели первый раз, лег и провалился в сон, как в смерть.

Не знаю, как долго я спал, оставаясь трупом. Потом из темноты бессознанья неуверенно, сначала робко пробился сон. Казалось, я еще иду с обозом; темная морозная ночь; мы входим в деревушку и стучим в первый дом, чтобы пустили на ночлег. Никто не откликается, возчики идут по другим домам, а я поднимаюсь на крыльцо и стучу, колочу в дверь что есть силы — и вот уже сплошной грохот бьет в уши, в мозг, а никто не открывает, деревня как вымерла и я чувствую, что остался один и замерзаю в этой пустыне, под бледно-мерцающим холодом звезд. Меня пробирает страх — и вдруг в сознание пробивается: это же не я стучу, стучат ко мне! Я подскакиваю на постели, раздираю глаза, кричу:

— Кто там?

— Да что вы, умерли, что ли, открывайте, я час стучу, окоченел, — слышу плачущий голос, в нем отчаяние, горе и зубная дробь. И тотчас же вспоминаю: начальник санчасти сказал, что пришлет компаньона, пришедшего на днях этой же дорогой и оставленного на одном из пунктов экспедиции. Днем я пропустил это мимо ушей.

Открываю дверь, зажигаю фонарь, — я не успел предупредить и гость, переступив порог, выпрямился в рост: на него и мимо, задевая меня, рухнула бархатная вата сажи, слоем

сантиметров в пятнадцать. Только на другой день я разглядел, что мой сожитель в высокой меховой шапке и широченной кавказской бурке; ночью казалось, что он сплошь облеплен сажей.

Сев на нары, пришелец несколько минут прокашливался и чертыхался. Я снова лег: морил сон.

— Меня подвезли и оставили, я стучал, стучал, — говорил гость, стуча зубами. — У вас же холодно, нельзя печку затопить? — В избушке, правда, опять было холодно.

— Нельзя. Топится по-черному, тогда нам придется выходить.

— Как же быть? Я промерз до кишок, а я только неделю, как после тифа.

— Ничего не поделать. Ложитесь, спите, утром затопим, — бормотал я, проваливаясь в сон...

Компаньон по карантину оказался чудесным человеком, с детской душой. Высокий, худощавый, лет за тридцать, с простодушными глазами и лихо закрученными усами, — если его не знать, усы могли вводить в заблуждение, потому что придавали ему зверский вид. Телеграфист с малой станции где-то за Моздоком, рыболов, охотник, балагур и весельчак, он представлялся мне типичным железнодорожным служакой, любителем душещипательных романсов под гитару, бесхитростным совращателем женских сердец, незатейливо ткавшим в глухом углу тихое и сытое российское бытие. Он даже вирши кропал — чувствительные, скверные, но способные тронуть своей беспомощностью и сквозившей в них любовью-благодарностью ко всему живому.

Быстро открыв себя и выложив свой душевный багаж, телеграфист успел передать и свое неутишимое горе: почему вырвали его из милой сердцу жизни под Моздоком и привезли сюда, в холодную северную глухомань? Он никому не делал зла — за что же его? Чего от него и от таких же, как он, хотят, зачем ломают жизнь, которая так хорошо у него шла? Зачем отнимают радость жить? Не находя ответа и не в силах заглушить свою боль, он загорался негодованием, жаждой действия — и скоро заговорил о том, что нельзя смиряться: надо бежать. Зимой нельзя, сотни километров сугробов не одолеть, но придет лето... Он говорил об этом еще неуверен-

но, намеками и с жадной надеждой смотрел на меня: неужели я не пойму, не поддержу, не скажу, что он прав?

У меня за спиной было уже три года заключения, а в них немало обветшалых надежд. И по себе и по другим я знал эту тоску, боль по отнятой жизни — и желание уйти от этой боли, скрыться от незаслуженной обиды, от несправедливости, от всего, что взворошило, изломало, исковеркало жизнь. Это чувство часто переходит и в неспособный к примирению протест, в потребность не уходить, а противопоставить себя непонятному, сразиться с ним, побороть. И именно такие люди, как мой сожитель, чистые и смирные душой, чаще оказывались самыми сильными, идущими до конца. Я не переставал думать о побеге и знал, что лучшего спутника, наверно, мне не найти. Но узнал я за три года и другое: как постепенно притупляется, угашается боль, — не исчезая, она словно опускается на дно души и человек каплю за каплей теряет решимость. Житейская сутолока даже лагерной жизни, какие-то непредвиденные обстоятельства ежедневного бытия глушат, отодвигают животворную тоску, а с нею и представление о той силе, с которой надо бороться. Где она, в чем? Проходит год, два — и человек словно свыкается с болью, с тем, с чем свыкнуться нельзя, и нет уже у него силы, чтобы решиться.

Телеграфист из-под Моздока не пробыл в заключении и года — что будет с ним еще через полгода, через год? И я, двадцатилетний юноша, говорил с ним, как умудренный опытом и остывший старик: не обнадеживая, но и не расхолаживая, не гася горевшей в нем надежды. Каждому самому надо пройти свой путь и советы со стороны все равно ни к чему...

Мы научились отлично топить камелек: надо накладывать не слишком много дров и поддерживать равномерный огонь. Тогда сизый дым неподвижно стоит на одном уровне, на удивление ровно: будто его обрезали ниткой. Не надо даже открывать дверь: мы садились на пол, на корточки, — выше голова уже попадала в зону дыма, — варили суп, кашу из скудно отмеренного пайка, кипятили чай, глядя, как пляшет в камельке огонь, пожирая смолистые поленья. Так можно было сидеть часами. Где-то был лагерь, была жизнь, там суматошились люди, мучились сами и мучили других, а мы вдруг странно выпали из их числа, словно брошенные на необитаемый

остров или задержанные на каком-то полустанке, на полпути к неизвестному. Это выпадает редко, и можно было пока отложить, отбросить мысли о побеге, о том, что будет, и окунуться в сонную очищающую дрему.

Изредка приходил изнывавший в экспедиции от безделья врач, приносил немного продуктов, что мог достать, мы пили чай и неторопливо беседовали втроем, в избушке за прокопченным столиком или наруже под окном, на набиравшем с каждым днем силу солнце.

Тут нельзя было суматошиться, даже громко говорить. Внизу, под еще белоснежным покровом, текла река, угрюмо вставал напротив заросший соснами скалистый берег, нас окружала тысячелетняя, никем никогда не нарушаемая тишина. И всякая суета в ней, хотя бы громкий голос, показалась бы грубым и неуместным вторжением в величавое лесное бытие, не знавшее человечьей бестолочи.

Две недели карантина промелькнули, как два дня...

ЛАГПУНКТ ПИОНЕРНЫЙ

Год, проведенный на базе экспедиции — лучший за время моего заключения. Нас было всего человек полтораста. Много интеллигентных людей — инженеры, техники, ученые; несколько десятков слесарей, плотников, механиков, а чернорабочими были добросовестные и непритязательные крестьяне. Топографы со своими теодолитами, мензулами прокладывали в лесах визиры, стирали с карты белые пятна; геологи копались в шурфах; строители возводили дома, бараки, мастерские: экспедиция спешно готовилась к промышленной разведке.

Охранники, одетые в такие же серые бушлаты, как и мы, винтовок не носили и больше помогали нам, чем охраняли. Начальник экспедиции, проштрафившийся чекист, старался не выделяться из заключенных. Он тоже носил серый бушлат, высокие таежные сапоги, шапку-ушанку и только летом фуражку с малиновым околышем. Заключенных звал по имени-отчеству, запросто заходил в общежития, курил с нами, пил чай, беседовал, — он хорошо понимал, что десяток охранников в этом отрезанном от мира углу его при случае не спасут и работу не подгонят и что только человечное отношение может выручить. Расчет оправдывался: мы не чувствовали себя ущемленными и жили словно одной большой семьей.

Работы было много, мы засиживались до полуночи, но среди дня оставался двухчасовый обеденный перерыв. Летом, наскоро пообедав, я шел гулять. Рядом протекала речушка, впадавшая в реку, по которой я пришел, — в черных омутах речушки иногда удавалось поймать хариуза, а если привалит большое счастье, то и серебряную форель: речушка текла с гор.

За речкой поднимался почти отвесный песчаный бугор, на нем — солнечный сосновый бор. В жаркие дни в бору плыл горьковатый запах разогретой смолки, он смешивался с пряным ароматом горячего мха и лесных трав. Между ровными стволами, только высоко наверху прикрытыми зелеными зонтами крон, видно далеко — может быть это успокаивало больше всего.

Дальше за бором начинался кустарник, сплетение смешанного леса, — из-за иголок молодых елочек эмалево блестели ярко-зеленые кружочки листьев. А среди зарослей неглубоко опускалась большая, с полкилометра в поперечнике, поляна покрытого сочной травой болота, удивительно правильной круглой формы — словно гигантское блюдо, заботливо вдавленное в землю неведомой силой. Северное лето коротко, всего два месяца, но оно буйное, нетерпеливое, размашистое: травы, деревья, кусты наперегонки спешат вытянуться, подрасти, отцвесть, вызреть, чтобы в урезанный срок выполнить положенное им. И потому когда ни придешь к изумрудному блюду болота, оно радует пышным цветением даже не лета, а весны.

Откуда-то к нам забежала белая поджарая собака, добродушная дворняга. Я подкармливал ее, назвал Кроликом — собака привыкла ко мне и стала обязательным спутником в прогулках. К обеденному часу Кролик уже сидел у порога, я выходил — пес дурашливо бросался вперед. В лесу он гонялся за мышами и зайцами, иногда надолго пропадал в погоне за мелькнувшим в кустах лисьим хвостом. Набегавшись, Кролик ложился рядом и тяжело дышал, высунув язык. А я сидел на берегу изумрудного блюда и думал, что прошла не одна сотня лет, пока это когда-то лесное озеро затянулось кувшинками, осокой, водяными лилиями — они как-то ухитрились затвердеть, прорасти толстым покровом, сплетенным из миллиардов корешков, стеблей, листьев, принесенной ветром пыли. Пройдут еще тысячелетия — образуется, наверно, кладовая каменного угля. Природа не торопится со своими постройками — куда спешим мы, люди, часть природы?

Дни проходили слаженно и можно было оставить без ответа этот все равно неразрешимый вопрос. Но оттуда, откуда я пришел, к нам тянулись костлявые, угрожающие руки. Там тысячи людей безостановочно рубили лес, прокладывая широкую просеку, рыли землю, делая выемки и насыпи, стро-

или мосты, засыпали болота — чтобы сцепить и нас, укрывшихся в этом углу, с сумасшествием, в которое была брошена земля. Голодные, полураздетые, они надрывались и гибли тысячами, их косили болезни, мор — на смену им гнали новые тысячи. И все для того, чтобы не дать жить по-своему и этим дальним местам.

Тайга противилась, злилась, не давалась. Она раскидывала на пути непроходимые болота — неделями в них бросали тысячи бревен и тысячи тачек земли, щебня, возводили насыпь, — для того, чтобы, придя в какое-то утро, увидеть снова взворошенную равнину. Опять волочили тысячи бревен, везли и опрокидывали в бездонную пасть тысячи тачек — и снова болото в одну ночь злорадно проглатывало нечеловеческий труд тысяч людей. Но приходил день, и болото смирялось: равнину дыбила свежевыступившая опухоль шоссе.

Работая в управлении, с тревожным чувством смотрел я на карту: с юга на север упрямо тянулась к нам жирная черта. С каждой неделей она наращивалась по бледному пунктиру, пока спасительно отгораживавшему нас. Когда пунктир совсем закроет жирная черта, все будет кончено еще раз...

Погожим днем поздней осени мы пошли с Кроликом в одну из последних прогулок. Еле слышно шелестел сосновый бор. Забрались в червонное золото кустарника, чтобы выйти к блюду болота — вдруг Кролик бросился в кусты, ощетинился, зарычал — и встал, как опешенный, даже перестал рычать, будто чем-то пораженный. Я подошел, раздвинул кусты — и тоже застыл, пронзенный ужасом.

От земли из кустов смотрели глаза — разжиженные, цвета болотной мути; они ничего не выражали и в них не оставалось ничего человеческого. Они были ни живыми, ни мертвыми, а до жути, до омерзения безразличными — и до того отвратителен был их взгляд, что к горлу подкатывала тошнота, а тело охватывал столбняк. Не сразу я разглядел лицо: круглое, вздутое, мятое, зеленое, как у лешего; на щеках и подбородке подло кустился пух; шарообразная, словно мягкая голова была в плешинах парши. Человекообразное зашевелилось, попыталось ползти; знаками раздутых черных пальцев и звуками хриплого голоса оно хотело дать понять, что хочет к людям, все равно, куда.

Это был беглец с тракта, мелкий воришка. Со своим дружком он убежал из лагеря с месяц назад и заплутал в лесу. Не

умея ориентироваться, они шли наугад, питались ягодами, грибами и не могли никуда выбраться. Второй заболел и умер — оставшийся в живых отрезал от трупа куски мяса (а может быть он, не выдержав голода, убил своего товарища и только не сознавался в этом) и с неделю питался им, в сыром виде: спичек у беглеца не было. Мясо кончилось, а он уже не имел сил даже собирать ягоды и три дня пролежал, медленно умирая, в кустах, где его учуял Кролик...

С новым, враждебным чувством смотрел я на подвигавшуюся к нам жирную черту. Похоже, что там, где она наращивалась, столкнулись какие-то непонятные силы, одинаковые по своей природе и по тупой мощи. Борясь между собой, они в самом деле превращают живое в мертвое — чтобы возникло что-то новое, с омерзительной головой беглеца, наделенной бессмысленными, ничего не выражающими глазами. Оттуда двигался словно поток какой-то мутной массы, не рассуждающей, движимой только темным звериным инстинктом, которого не разгадать. Сталкиваясь с такой же тупой силой тайги, поток вытягивался в жирную черту, которая казалась теперь мне удавом, с раздутой зеленой головой беглеца с тракта, пожирающей все живое...

Жизнь на базе быстро менялась. Приходили новые люди, партиями в сотни человек. С ними вернулась обычная лагерная толчея; нашей большой семье пришел конец. А в начале зимы всего в четырех-пяти километрах от базы поставили новый лагпункт, последний на будущем тракте, связывающем нас, и назвали лагпункт Пионерным: пионеры пришли в тайгу, чтобы освоить ее. Но это не были пионеры: это была голова удава, вплотную подползшая к нам.

Ставили бараки, стало крикливо; появилась охрана, комендант, строй, — все то, о чем мы успели забыть. А в управление приходили строители — десятники, прорабы, начальники пунктов, крепкий, рослый народ с громкими голосами. Они приносили здоровый запах пота, земли, смолы, снега, будто бы животворный запах труда. И я с удивлением замечал, что многие из них в самом деле увлечены освоением таежной глухомани. Они будто в явь чувствовали себя строителями, пионерами, открывателями новых богатств. Как могли они не видеть, не чувствовать, что они ничего не открывают, а только уничтожают живое, заставляя надрываться для этого таких же людей, как и они? Неужели так велика у них потребность

забыться в возбуждающем чувстве пионеров, что они могут отмахнуться и от самой жизни? Или — все это тот же тупой, животный инстинкт и напрасно искать тут человеческие чувства, дух и душу? Мне казалось, что басовые раскаты простуженных голосов строителей и блеск их горячечных глаз прикрывают тот же смертельный удавий хрип и взгляд.

С этим ничего нельзя было сделать, тут все бесполезно; может быть, не помогли бы даже пулеметы, если бы они и были. Перебороть нечем. Но можно еще попытаться оттянуть. Осенью от нас ушла группа на новое место разведки, километров за двести, если считать по прямой. Пробраться туда можно только по рекам, кружным путем — дорога растягивалась километров на восемьсот. Туда удавья черта не скоро доползет, — я попросился в эту группу. В ней нужны работники, а на базе их теперь хватало. Начальник согласился — в середине зимы я выехал в новый путь, еще один короткий отрезок моего земного пути. . .

В ЖИВОМ И МЕРТВОМ

База экспедиции — как на водоразделе: цивилизация осталась далеко на юге — и прерывистой цепочкой редких деревень тянулась по рекам на север. Километрах в пятнадцати от нас — первая деревушка, на реке, впадающей в другую, которая несла свои воды в студеное море. По рекам и морю — летняя связь с большой землей; от деревушки начинался и зимник; по берегу убегала единственная проволока телефона. Недалеко от устья последней, судоходной реки, проволока сворачивала в сторону и тайгой и тундрой пробиралась к большому городу на большой земле.

От деревушки — почтовое и пассажирское движение, зимой на перекладных. Как сто и больше лет назад, ехали от деревни к деревне, от станка к станку, каждые двадцать-тридцать верст меняя лошадей. Разница в одном: тогда мчались в кибитках и на тройках — теперь замореная колхозная лошадка кое-как волочила розвальни, а в них седок подставлен каждой капле обжигающего, чуть не жидкого воздуха.

Зима не хотела смягчаться: термометр Цельсия не поднимался выше 30 и падал до 40, а то и до 50 градусов. В одну из ночей моего пути он упал до 63.

На дорогу мне выдали местную одежду. На мне была моя: суконные брюки, пиджак — поверх я надел лагерные ватные штаны и телогрейку, еще свое же ватное пальто, а на него — малицу: сплошной балахон, его надо надевать через голову, как женское платье. Малица — из нежной шкурки пыжика (молодого оленя), она с капюшоном и рукавицами, все это — мехом внутрь. А на малицу — еще совик: такой же балахон, только из кожи взрослого оленя — теперь мех был наружу. На ноги, на мои шерстяные чулки, я надел липты — длинные

кожаные чулки, тоже из пыжика мехом внутрь, на них пимы — вроде высоких сапог, опять из кожи взрослого оленя и мехом наружу. Вырядившись так, я превратился в большой мягкий шар и почти потерял способность двигаться; подойдя к саням, я валился в них на сухое сено. Но мороз все равно пробирался сквозь мех, вату, шерсть и хватал за ноги, плечи, спину, а нос и щеки я обмораживал постоянно и к концу пути они превратились в сплошной сизокоричневый струп. Через год-полтора в этих местах, в такие же морозы, перегоняли и заставляли работать десятки тысяч заключенных, одетых в негреющее лагерное тряпье.

Если смотреть по карте, мы скатывались прямо на север — будто поэтому в первые дни мы проехали больше двухсот километров. Потом повернули на восток, по большой судоходной реке — на ней и движение больше, а лошадки словно еще заморенее и к тому же их не хватало. И весь путь занял две недели: похоже, этот срок стал стандартным, в него часто укладывались разные отрезки моего тогдашнего бытия. Кто отмерил этот срок?

Удивляться было чему и кроме этого. Огромность пространств и смиряла, и возбуждала. В этом краю можно было бы уместить несколько западноевропейских государств. А его, в деревнях по берегам рек, населяло всего тысяч пятьдесят человек. От деревни до деревни — двадцать, тридцать километров, а деревня часто — три-четыре двора. Двадцать-тридцать дворов — уже большое районное село и лишь три-четыре села в краю насчитывали дворов по сто: центры, вокруг которых сосредоточивалась местная жизнь. И мало кто отваживался уходить в тайгу на десяток километров от берега: незачем.

На севере люди приветливы и открыты; они рады каждому новому лицу, известию, событию. О том, что в устье с большой земли приехал Иван Иванович Иванов, в верховьях, за тысячу километров, узнают через час-два: по незаметной проволоке телефона новости летят, как по воздуху. Никогда не откажут в ночлеге: приезжайте в полночь, в два, в три часа ночи, стучите в любой дом — через пять минут хозяйка уже возится с самоваром и разжигает железную печку. Путник с дороги должен быть накормлен и обогрет. Предложите деньги за ночлег, за самовар — откажутся; настоите — возьмут: значит, у проезжего есть и взять не зазорно, но никто не спросит, если не предложите сами. Человек не у себя дома — человек, о ко-

тором обязан заботиться каждый, кто дома. И этот каждый, сам отправляясь в путь, без церемоний заходит в любой дом и принимает уход за собой, как должное. Да и путник — развлечение и источник новостей: они будут пищей для размышлений и разговоров на много дней...

Раньше тут не легко было найти рабочих для небольших лесозаготовок, на разгрузку и погрузку барж и пароходов: на такие работы шли по случаю, ради лишнего заработка. Занятия выбирали больше по душе. Мужчины рыбачили — река кишела дорогой, красной рыбой, на продажу, хватало и на еду, Зимой охотились: лес густо населен белками, рыжими и чернобурыми лисами, водились и медведи; севернее жили белые и драгоценные голубые песцы. В тундре обитали оленеводы, с тысячными стадами оленей: замшевые перчатки из оленьей кожи местной выделки носили щеголи Петербурга, Москвы — и Парижа, Лондона. Охота и рыболовство занимали хорошо, если половину времени; окончив сезон, мужчины забирались на печки, на полати и откровенно бездельничали: они были обеспечены на круглый год.

Приложить руки к домашнему хозяйству, к земле, мужчины считали для себя постыдным: хозяйство вели женщины. С мужчины достаточно того, что нужно по очереди возить почту, проезжих — зимой на санях, летом, если нет парохода, на лодке, которую тянет лямкой идущая по берегу лошадь. Тут родилась репа, картофель, немного южнее вызревали рожь, ячмень, но раньше их не сеяли: хлеба хватало привозного. И если женщина вскапывала огород, площадью с небольшую комнату, под репу и картофель, хозяйской гордости не было конца.

Но каждый двор имел по две-три — и до восьми-двенадцати коров. Летом их до зимы выпускали в лес, они не уходили далеко, хотя и случалось, что одну-другую задирал медведь. Это не считалось большим несчастьем: скотина стоила дешево. На зиму заготовляли сено, но травы, даже только на узкой полоске берега, не выкашивались и каждый год сгнивали на корню. Тут можно было бы прокормить скота в десятки раз больше, чем имел край. Но и без того он отправлял вниз, к океану, и дальше внутрь страны и за границу множество бочат янтарного масла. И жил безбедно и беззаботно: до тех пор, пока не пришел сюда концлагерь, местные жители не знали замков и никогда не запирали дверей, отлучаясь из дома.

Мы пришли в этот край в древние времена: сюда заходили

еще новгородцы. При Грозном тут стояли острожки, край цепко осваивали купцы. Пробирались сюда не только студеным морем, а и прямиком по тайге и тундре. Давным-давно, когда еще в помине не было о нынешней технике и концлагерях, без тысяч и тысяч людских жертв, тут сумели за сотни километров пробить летнюю дорогу, там, где уходила теперь на большую землю проволока телефона. После революции тайга и тундра стерли эту дорогу и остался только зимник.

При Михаиле Федоровиче, Алексее Михайловиче на реке промышляли жемчуг, мелкий, бисерный, но попадался и крупный. Им вышивали оклады икон, кокошники, посылали в Москву...

На четвертый день пути мы приехали в большое село, прежний острог. От прежнего в нем мало что осталось. Богатых оленеводов, промышленников, купцов давно уничтожили, разогнали; отдельные их семьи еще оставались и медленно умирали.

Возчик завез меня в такую семью, из двух молчаливых старух. Одна высокая, одутловатая, дородная, с горделиво поднятой головой, с длинным посохом в белой руке — с нее можно было бы писать боярыню Морозову. Утолщенная рукоять посоха — в пожелтевшей инкрустации: тут чудесно резали по кости, а кость брали из клыков моржа и бивней мамонта, законсервированные морозом туши которого иногда находили в тундре. Вторая старуха — низенькая, тощая, скрюченная пополам, с носом Бабы-яги, шмыгала по комнатам, постукивая короткой клюкой. Обеим было почти по сто лет.

Истовые староверки, они чуть не прибили меня, когда я, не зная, куда попал, собрался закурить. Гневными взглядами и жестами старухи выставили «табашника» на мороз. За едой дали мне «мирскую посуду». Но отходчивы и старушечьи сердца; может быть потому, что в их глазах я тоже был гонимым, к вечеру старухи смилостивились и степенно беседовали со мной. В доме было много икон; в одну из дверей я видел уставленную иконами стену может быть молельной; наверно, были у них и старые книги. В разговоре о старине я спросил, что у них есть из древности. Книг мне не показали, но щедро вознаградили другой стариной.

Должно быть, старухи в этот день пересматривали свои вещи: в одной из комнат, на столах и древних же укладках и сундуках, окованных цветным железом, лежали женские на-

ряды. Старухи носили их лет восемьдесят назад. Потом оказалось, что эти наряды еще от бабушек и прабабушек старух: это были одежды, которые носили наши девушки и молодые женщины этак при Алексее Тишайшем. Тяжелые бархатные, парчевые, легчайшие шелковые сарафаны, накидки — ярко-красные, малиновые, бордовые, нежно-голубые; цветистые персидские шали, платочки ажурного плетения устюжских кружевниц, расшитые сафьянные сапожки, веселые и величавые кокошники, унизанные жемчугами и уральскими самоцветами — вся эта музейная редкость на наши деньги не имела никакой цены — и была несметным богатством. Для старух смотр был праздником; глаза их смягчились, увлажненные радостью воспоминаний; руки любовно гладили бархат, парчу, кружева. А я смотрел, замирая, боясь спугнуть вышедшие из прошлого зыбкие тени, словно видя, как оживают мертвые вещи, облекая волооких красавиц с черными дугами бровей на белых лицах и с длинными, ниже пояса, толстыми косами...

Все это был мираж, тлен; парча и бархат расползались от старости; кости волооких красавиц давно истлели на кладбищах, — последними доживали прошлые века две столетних старухи. Но я плохо спал в ту ночь, а утром, добиваясь у сельсоветчика лошади, со злости готов был двинуть кулаком в его опухшую от пьянства ни в чем неповинную рожу. Лошадь дали только к вечеру — днем я бродил по селу, тщетно вглядываясь в уцелевшие кое-где дома с крытыми переходами и высоким крыльцом под навесом, который держали пузатые колонны. Срубленные из толстенных сосен, они стояли по двести лет: крепкая оболочка старины, которую вымела из них метла нерассуждающей революции.

О прошлом говорили и просторные торговые ряды, магазины, вместительные склады: революция начисто вымела содержимое и из них. Они стояли заброшенно, пусто; в единственном магазинчике «райпо» на полках — только желтые пачки «кофе здоровье» из желудей и голубые коробки зубного порошка. Стоило ли менять жемчуг на зубной порошок? Когда-то тут сновали «молодцы», из тундры ехали оленеводы, снизу и сверху шли обозы, ядрено поскрипывая на морозе полозьями и туго увязанной поклажей. И вместо заунывного железного звона из судоремонтной мастерской, тоскливо и одиноко разносящегося в пустынных улицах, медно, торжественно, жизне-

утверждающе гудели колокола собора, давно закрытого: его двери забиты досками, с голубых куполов сняты кресты.

Я останавливал себя: и в прошлом разве мало было дикости, мерзости? Прошлое хорошо разве тем, что оно прошло... Но нет, это не так: как бы не относиться к нему, в нем было и что-то верное, прочное, чего не имеем мы, потому и томимся. Оно, это верное, должно быть и в нас, из того же прошлого, но мы не можем, не умеем его узнать, вытащить на свет, сделать для себя законом...

На постоях, на ночлегах — недоумевающие, ничего не понимающие люди. Что делают с ними? Зачем? Кому нужно, чтобы оленеводы шли в колхоз и чтобы половина оленей из-за этого погибла, разбрелась? Что это за колхоз, кто его выдумал, зачем он? И как при нем жить? Почему у хозяек отобрали коров и их теперь осталось меньше половины? Масло забирают, детям не оставляют даже молока. Почему не привозят товары, как прежде? Нет соли, нечем солить семгу, сига, нельму. Пришли голодные времена — их север не знал. Мужчин не оставляют в покое: одним дали задание на сдачу пушнины — и пушнины стали сдавать меньше, чем прежде; других гонят на лесозаготовки. Кому нужен этот лес, если он не может попасть внутрь страны? Заграницу? Это далеко и совсем непонятно: за лес ничего не дают взамен.

Северяне, люди свободные, с большим чувством собственного достоинства, почти не знавшие прежде давления власти и привыкшие жить своим умом, воспринимали новое, как стихийное бедствие, обрушенное на них неумными людьми. Сопротивляться открыто бесполезно; только часть оленеводов ушла — одни на запад, лесами, к финнам и норвежцам; другие, как рассказывали, будто бы пробрались через весь север Сибири и Берингов пролив на Аляску. Остальные, приученные суровым севером к смекалке и изворотливости, всеми способами старались ускользнуть от насилия власти.

Этот край давал стране масло, пушнину, рыбу, оленьи шкуры: пятьдесят тысяч человек с лихвой оправдывали себя. Можно было бы еще во много раз увеличить молочное хозяйство, создать тут северную Швейцарию; можно расширить земледелие, оленеводство, привить сбор ягод — неисчислимое ягодное богатство пропадает зря. Если заботиться о развитии, не довольствуясь тем, что есть, тут можно придумать не мало дел, которые будут быстро развивать край, не насилуя его. Мы

ищем нефть, руды, уголь, — чтобы их добыть и вывезти, надо построить железную дорогу на тысячу километров, в царство вечной мерзлоты. Пригонят десятки тысяч заключенных, начнутся большие работы — они подчинят себе край, заставят его работать на себя и разрушат веками сложившийся тут уклад. Страна не получит отсюда больше ни рыбы, ни пушнины, ни масла: их без остатка съест новое дело. Оно даст краю — зубной порошок, а стране, может быть, уголь, — добытый в заполярьи, он будет стоить не дешевле золота. Почему бы не добывать его в уже освоенных, более южных местах, расширив добычу там? Потому лишь, что надо чем-нибудь занять тьмы заключенных, не взирая и на то, что работа здесь не только разрушит жизнь края, но и потребует сотен тысяч человеческих жертв?..

Трясясь в санях, так можно было думать, лишь забывая о том, что никакие человеческие выкладки не имеют значения там, где решает не человек, а ничего не выражающий удавий взгляд. И стоило вспомнить о нем, вообразить однажды увиденную в кустах мерзкую голову с бессмысленными глазами болотной мути, как размышления исчезали сами собой...

Ночами слева или за спиной небо загоралось северным сиянием. Оно перекидывалось исполинской дугой, сводом от одного конца неба к другому, и переливалось цветами радуги. Либо развешивалось полосатыми занавесами, — они играли оранжевыми, голубыми, синими, розовыми, зелеными огнями. Игра эта никогда не манила, не влекла; она была ни земной, ни небесной: торжественная и непонятная, она обдавала холодом и могла только отдалять и подавлять. Слиться с ней, как с мерцанием звезд, чувствуя себя частью игры, ибо ты — часть вселенной, почему-то было нельзя: она словно отгораживала небо от земли. И сколько ни смотреть, нельзя было вообразить, почему горит завеса: сполохи, полыхавшие изменчивым огнем, которого не найдешь ни на одной палитре, оставались неразгаданной тайной.

Термометр падал ниже пятидесяти. Заиндевевшая лошадка трусит, будто оставаясь на месте, словно завороженная; заворожен и ямщик в передке саней; его спина и голова в шарообразном капюшоне совика поседели от снега и инея. Воздух застыл; он обжигает щеки, режет горло, колет в легкие. Куда не глянешь — белое полотно: на реке, на обрывах скалистого берега, на прибрежных кустах с другой стороны, на стене ле-

са за кустами — всюду белое безмолвие. Скалы тоже в инее и кажется, что у них из каменных пор, как от тяжкой муки, выступил пот и мгновенно застыл. Легкий дымок изо рта разлетается пылью, как пудрой, и только изредка раздастся выстрел: это треснуло от мороза дерево или не выдержал и лопнул камень, расколотый холодом, как колуном.

Неподвижны скалы, берег, лес. Мы минуем одни видения — открываются такие же, картины меняются, оставаясь одинаковыми, скованными тем же первобытным холодом. И кажется, что мы остаемся на месте, никуда не движемся, а кружимся по кругу среди кем-то нарочно расставленных декораций, — они кружатся вместе с нами и нам не вырваться из них. Опять околдованы мы непонятной силой — и стоит лишь поддаться ей, она усыпит тебя, уничтожит, превратит в пылинку себя самой. И видя это окованное холодом безмолвие и помня то, в чем мы живем, ты поддаешься впечатлению, что сопротивление бесполезно: как бы успешно ты ни сопротивлялся и сколько бы ни защищал себя, ты не можешь окончательно победить и рано или поздно все равно сдашься, — но не так, как сдается все живое, превращаясь в мертвое и уступая место новому живому, повторяющему твой путь, а растворишься в небытии, которому уже никогда и ни для кого не будет конца.

Изначальное обнажение, не знающее ничего из созданного и измышленного человеком, равнодушное и к добру и к злу, уложенное в непостижимую нами мертвую гармонию, чудилось в покоренных морозом реке, соснах, скалах; казалось, что они, пробывшие так сотни и тысячи лет, смотрят на нас даже не безучастно, а снисходительно-насмешливо. От этой насмешки никли, уходили мысли о людском горе и жалких усилиях, обо всей нашей временной возне. Кружась в этом безмолвии, я уходил от нее — для того, чтобы снова к ней придти: видно мы, как неисправимые преступники, приговорены бессрочно и освобождает нас только смерть...

СТАРЫЙ ЗОВ

База группы — в тайге, в трех километрах от реки. Тут будет основная разведка. А весь район разведки — километров на двести и мы, всего сотня человек, только первая группа. Наше дело — начать и приготовить место другим.

Когда я приехал, в лесу уже было два барака; несколько охотничьих избушек вычистили от сажи, поставили в них железные печурки. В одной жил начальник группы, тоже проштрафившийся на воле чекист, как и начальник экспедиции ладивший с нами; еще в двух — шесть охранников, от скуки помогавших в хозяйстве; в других избушках — кухня, баня, склады.

Закончили еще барак, для будущего управления, немного в стороне. В одном его конце две комнаты заняли геологи, а комнату в другом — я, под временное подобие хозчасти. Как старый лагерник, знающий лагерное хозяйство, я приехал сюда завхозом, бухгалтером, кассиром — сразу всем, ведающим денежными и хозяйственными делами.

Опять, как год назад, не было лагеря. Мы — большая семья, скрепленная одной участью, чувством заброшенности в глухой угол, человечными отношениями. Но прежнее ощущение не возникало. Это ведь — только повторение. Пройдет полгода, год — обязательно, неминуемо вернется лагерь. И не было больше освежающего чувства новизны.

Я следил за питанием, за выпечкой хлеба — из нашей муки, его пекли местные жители, в деревушке из четырех дворов на берегу реки. Вел мизерное денежное хозяйство, устраивал к весне пристань и склад на реке, почти каждый день ездил в деревню. У меня под началом — три лошади и конюха; главный из конюхов — громадного роста и медвежьей силы чал-

дон-сибиряк Реда. Он смотрел из-под лохматых бровей понимающе и немного снисходительно, будто ему все известно и нипочем. С ним хорошо работать: Реда никогда не перечил, был философски спокоен, и если делал не так, как говорил я, то выходило, как нужно. При том он умел щадить мое юношеское самолюбие.

В моей комнате — два сбитых из свежих досок стола. За моим сразу и спальня: койка-раскладушка. Под ней железный ящичек с деньгами. За вторым столом счетовод Калистов, лет тридцати, веселый, разбитной человек, хороший товарищ. За внешней веселостью проглядывала у него упорная тоска и что-то еще, чего я пока не мог разобрать...

Занятый хозяйством, я и не заметил, как подошла к концу зима. Кончились длинные ночи, утром и вечером прихватывавшие большие куски дня, потянуло теплом, попрозрачнел воздух — легче стало дышать. Дорога в деревню над оврагом — снизу, из-за голых еще кустов и деревьев, сначала робко, неуверенно, потом все громче и громче зазвенел талой водой ручей, бередя в душе смутное беспокойство.

Выше поднялось, раздвинулось зимой низкое, туманное небо; в весенней голубени поплыли крылья облаков. А за рекой, прямо на восток, открылись горы. В ясные дни их было видно и зимой, но тогда они казались ниже и незаметнее. Теперь, стоя на берегу реки, я не мог оторвать от них взгляда. Высоко поднимались две острые вершины, на них сияло солнце; цепью на север и юг холмами громоздился хребет, тоже еще прикрытый снегом. Кое-где чернели черточки трещин — должно быть глубокие ущелья. Горы были то розовыми, то голубыми, фиолетовыми или синими, легкими и нежными, словно височными в прозрачном полотне неба. И мощными: тяжело, массивно, несдвигаемо давили они щетку тайги, поднимаясь над ней. И может быть вот это странное сочетание мощи и легкости, — легкая мощь гор, — отсюда, издали, придавало им особенное очарование.

Наверно, именно горы решили дело. Они с непонятной силой тянули к себе. Казалось, что до них подать рукой, хотя они начинались километров за сто от реки. Горы встали над тайгой, как сверкающая цель, как символ воли — он взворошил, поднял из-под спуда каждодневной суеты никогда не пропадавшее в душе до конца беспокойство. И в будоражащем зове

поднялось неотступное, на что надо давать ответ: не пришел ли давно жданный срок?

Я пробыл в заключении около четырех лет. Оставалось еще больше шести. Ничего утешительного впереди не было. Вот так, как и прежде, занимайся тем, что не дает и не может дать никакого удовлетворения и в чем никому нет и не будет проку. Примирительное наше временное благополучие скоро кончится: летом придут новые партии, снова приползет к нам удавья пасть. Даже мысль об этом нестерпима. Всюду я приглядывался: нельзя ли уйти? Страсть к воле, к чему-то другому, сидела в крови, ее не заглушить. Я думал о побеге не умом, а чувством, — ему не скажешь, что и за лагерем нет воли и уходить, наверно, бесполезно. Что толку в пользе, в чем она? А горы светят, как гибнущему в море маяк; весна ломает, рушит безудержно зимний плен, давая свободу живому, и разгоревшегося внутри огня не угасить. Что остановит теперь?

Вверх по реке — цепочка деревень. Их можно миновать. Но километров через триста — другой большой лагерь, вокруг него — широкая ловушка-сеть оперативных постов, занятых ловлей беглецов. Себе в помощь оперативники привлекают комсомольцев, активистов из местных жителей, за плату продуктами охотящихся на людей. Если идти на юг — угодишь прямо в эту ловушку. Тоже и на юго-западе. На западе — наша экспедиция. Пройдя километров двести лесами, можно обойти экспедицию — останется еще восемьсот километров тайги. Тысячу километров за короткое лето не одолеть.

На севере — Ледовитый океан. Если даже в тундре пристать к оленеводам, о тебе скоро узнают: новый человек в тундре — новость, о которой промолчать выше человеческих сил.

Но открыт восток. Четыре, пять дней до гор, неделя — перевалить горы, еще неделя — добраться до первого жилья по ту сторону гор, по рекам спуститься к судоходной реке, на пароходе подняться кверху, как раз в густо заселенный промышленный район. Что остановит меня?

Раз начав, словно даже без участия в этом сознания, я складывал в целое детали, прикидывал километры, отбрасывал одно и выбирал другое, постепенно вырисовывая необходимый план. Я вел хозяйство, разговаривал с начальником группы, с охранниками, с рабочими, — а перед глазами у меня расстилалась карта и я говорил с людьми, как сквозь сетку нанесен-

ных на карте рек, гор, озер — где-то по ним проходил мой путь.

Карта, впрочем, существовала больше в воображении. В деревне попался истрепанный школьный учебник географии, я выдрал из него карту. На ней только большие реки и горы, главные населенные пункты — ни болот, ни мелких речек и деревень нет и в помине. Но точных карт этих мест вообще нет: их еще будут составлять наши топографы. Меня устроит та, которую я достал: направление есть, а идти придется не по карте, а по земле. Компас — у меня в складе, в снаряжении разведочных партий, лежат десятки компасов.

Крестьяне говорят, что между рекой и горами — непроходимые болота. Через горы есть только санный путь, его иногда, не каждый год, прокладывают оленеводы. Летом тут не пройти. Но откуда они знают, если никто из них летом в тайгу дальше, чем на десять-пятнадцать километров не ходил? И как это может быть, чтобы нельзя было пройти по земле?

Казалось, подталкивал каждый случай. В группе все с большими сроками, но молодого геолога Федотова отправили сюда по ошибке. В конце зимы он окончил свои пять лет, его освободили телеграммой из базы экспедиции. Федотов продолжал работать, ожидая, когда вскроется река, придут документы и можно будет уехать к океану и дальше, на большую землю. Но он до того хотел быть свободным, что не остался и месяца на прежнем положении и переселился в деревню.

Молчаливый, замкнутый, с втянутыми щеками — в них горел туберкулезный огонь, — Федотов в группе ни с кем не сходился и держался особняком. А тут вдруг его прорвало. Почему-то этот с нетерпением ждущий отъезда на волю человек почувствовал ко мне слепое доверие — через несколько дней после переселения в деревню у него не было от меня тайн. Может быть, до того тяжко ему было ждать, что не мог он вынести эту тяжесть один?

Мы сидим у него в комнатке за столом. Между нами лампа. Язычок керосинового пламени блестит у Федотова в глазах. От этого его глаза — как с сумасшедшинкой. Сквозь кожу красноватого лица словно проступает исступление. Пристально глядя то на меня, то на лампу, он говорит:

— У меня глупая боязнь: не дотянуть до парохода. Я знаю, этого не может быть, и все-таки боюсь. Туберкулез у меня не в такой форме, чтобы я не протянул еще два-три месяца. Надо

выдержать: если бы вы знали, как я хочу еще раз увидеть семью, свой город! Тогда можно и умирать. Меня и страшит: а вдруг не увижу? Раньше я боялся, что меня не освободят. Не знаю, откуда это взбрело, но я был уверен, что не освободят, я убедил себя. А я пять лет только тем и жил, чтобы вернуться и еще раз увидеть. И я решил: если не освободят — этой весной уйду. Пойду в горы, перевалю их, спущусь по рекам, а там поднимусь на пароходе к железной дороге и проберусь к себе. Вы знаете, севернее нас, километров за пятьсот, работает экспедиция профессора Светлова, из Геолкома? Я хотел выдать себя за участника этой экспедиции, отправленного по специальному маршруту. Имейте это в виду. Я уже кое-что заготовил — вот, если хотите, мне они больше не нужны, а вам могут пригодиться.

Он передал мне три заполненных профсоюзных билета. И билеты, и этот разговор — как знак судьбы. Я ничего не говорил геологу — откуда он узнал? И план почти тот же! Федотов снова и снова говорил об этом, как бы подталкивая и напутствуя меня.

В эти дни открылся и Калистов. Он сидел в хозчасти с утра до ночи, тут же обедал, ужинал; к пайку на железной печке пек нам оладьи, варил овсянку, кипятил чай. Мы подружились — и сначала из намеков, потом и из откровенного разговора выяснилось: Калистов живет тоже одной мыслью: как бы уйти, этой весной.

Калистов открыл больше: у них уже составляется группа, двое из нее — Реда и Хвощинский. Сибиряк Реда, охотник, знает тайгу, как мы город, идти с ним — играть в беспроигрышную лотерею. Хвощинский — бывший командир полка, храбрый и решительный человек.

Реду я знал; Хвощинский работал плотником, знал я его только издали, что он представлял собой — неизвестно. Есть и еще кто-то — это уже опасно: каждому не влезешь в душу. В такие дела нельзя посвящать больше одного-двух человек. Я потребовал от Калистова, чтобы он ни с кем не говорил о побеге.

На другой день поехал с Редой в деревню. Сидя рядом в санях и посматривая по сторонам, Реда рассудительно говорил, как об обыкновенном деле:

— Я так думаю, большим кагалом не нужно: шуму много. И в лесу шумно выйдет, да и не уследишь. Калистов горячий,

Он всех бы взял. А сгоряча и пропасть недолго. Нам не к чему пропадать, пускай коммунары пропадают. Пятеро-шестеро — ладней не может быть: глаз за каждым, и каждый свое дело исполнит. И выручка круговая, товарищество, и пройдем, где хотим. Еще оружие нужно. В тайге без оружия — как без рук, это что плотник без топора. Зверя пострелять, пищу добыть, да и не больно погонятся, поопасятся. С оружием, впятером, вшестером, мы куда хочешь уйдем, хоть до Амура. А там и Китай...

Реда рассказал о своем плане. В одну из ночей, когда в тайге немного подсохнет, мы обезоружим начальника группы и охрану. Это не трудно: мер предосторожности они не принимают. Оставляем их связанными: до утра они ничего не сделают. Вооружившись винтовками, наганами и охотничьим ружьем начальника, уйдем на берег, возьмем в складе припасы, переедем на лодке реку — и в тайгу. Разыскать в ней пятерых-шестерых — дело почти безнадежное. Погоню организуют не раньше, чем к полудню: у охраны не будет оружия. И гнаться, зная, что у нас пять-шесть винтовок, ретиво не будут: каждому дорога своя жизнь.

Этот план пришелся мне по душе. Против силы, что послала нас сюда и держит здесь, безоружные мы бессильны. Эту силу нельзя ни убедить, ни уговорить, ни умолить. Даже для того, чтобы только уцелеть, под ее властью надо всегда обманывать, хитрить, изворачиваться. Это не каждый может и не каждому по нутру. И тому, кто может, если он не из той же породы, всегда будет противно. Это — против природы человеческой, это унижает и оскорбляет. И даже если сумеешь перехитрить и вывернуться, у тебя остается чувство, что победа не за тобой, потому что ты должен продолжать изворачиваться, до твоего конца.

Совсем другое, если в руках у тебя оружие и рядом вооруженные друзья. Унизительное заячье чувство мгновенно пропадает. Пусть вас мало — вы все равно отбрасываете уловки и говорите в лицо: иду на вы. И этим принуждаете противную сторону тоже отказаться от заячьего петлянья и выйти в открытую. Тут — почти поединок: кто кого. Это удесятеряет ваши силы — и ослабляет трусливую власть.

Я одобрил план Реды, попросив, чтобы он пока никому не говорил о нем. До самого дня, когда надо будет приступать к

выполнению, о нем будем знать только трое: Реда, Калистов и я.

Еще ближе я сошелся с Редой. Постепенно мне открылись думы этого великана. О Китае он упомянул так, может быть в расчете, чтобы соблазнить. Думал он о другом: выбраться в родные места, составить из друзей небольшой отряд, выйти к сибирской магистрали и начать партизанские набеги, стараясь поднять восстание в больших селах и городах. Пробыв в концлагере три года и повстречав множество людей из разных мест России, Реда сильно раздвинул свой кругозор таежного чалдона. Здравый рассудок и природная сметка позволили ему разобраться в настроениях людей, подметить главное, обобщить, а сильная воля и страсть подсказали: если взметнуться, решительно, с расчетом на всю Россию — может быть, получится запал, от которого громыхнет общий взрыв. Это был природный вожак, способный преодолеть крестьянскую ограниченность, и я видел, что за ним пошли бы. Кто знает, может быть его думы как-нибудь и воплотились бы в действительность?

План Реды открывал не просто даль: из отвлеченного мечтания возникала цель. В думах Реды были белые пятна; его вел тоже не столько рассудок, сколько чувство, инстинкт, но это было здоровый инстинкт. О многом еще рано было думать, но это не помеха: белые пятна сотрутся потом, неясное прояснится в действии. И не мне отговаривать: я готов помогать, сколько хватит у меня сил, хотя бы дело и не обещало обязательного успеха...

Весна торопилась. Неделю назад казалось, что мертвые покровы в лесу, слежавшиеся ледяными глыбами, не растопить. А из-под них земля уже тянулась к солнцу. Беспокойный земной дух прошиб глыбы снизу, солнце съедало их сверху; снег осаживался — и вот уже он, как ненужный ноздрястый нарост. Теплый ветер выметает его, как с улиц выметают сор. Иначе запахло в лесу: природа на глазах совершала крутой поворот; обновление было неминуемым.

Поворот совершался и в душах. Яснее, чем когда прежде, можно было ощутить, как за внешним скрывается невидимое, более важное, чем видимое. Взгляд словно проникал сквозь оболочки и видел глубину душ. Я всматривался в лица, в глаза: который? Не этот ли? И безошибочное чувство часто говорило: и этот. Этот тоже под будничной покорностью таит

дерзкую мысль: пробить налет, вырваться, взлететь ввысь. Душа издырявила пригибавший его к земле пласт — еще усилие, еще день, еще солнечный луч или веяние ветра весны, обжигающего ветра свободы — и человек выпрямится в рост. Похоже, что половина нашей группы готова была бежать и тайное для того, кто мог видеть, кто жил тем же чувством, стало явным.

Наступили дни, когда было неизвестно, что реальнее: обыденность или то, что питалось пока только замыслом и медленным приближением к нему. В голове смятение; перепутались наблюдения над собой и над другими людьми, бушевание весны и тяга в даль. А надо вести себя так, как будто ничего не происходит, — для того, чтобы могло осуществиться скрывающееся внутри, пока только задуманное, но более реальное и важное, чем все, что вокруг. И тут, когда душа и инстинкт хищно и безрассудно влеклись к осуществлению задуманного, сами собой по-звериному обострились чувства. Глаза подмечали, что пропускали раньше, слух будто вытянулся и я чуть не по-собачьи прислушивался и принюхивался, стараясь распознать каждую опасность и каждый благоприятный признак.

На людях надо было оставаться спокойным. А ночью я корчился в лихорадке тревоги и не спал часами. Я проклинал медлительность весны, хотя она и не опаздывала. Преследовали неопределимые предчувствия: вдруг ничего не выйдет? Это было бы крушением, обвалом, катастрофой, последствий которой не вообразишь. Я успокаивал себя: нет причин, почему бы не удалось, но темные предчувствия сильнее рассудка и ночную тревогу не заглушить.

Днем, при виде далеких гор, тревога исчезала. И крепла тяга в даль. Тягу эту не остановить. Я не чувствовал, я знал: я буду там...

ВОПЛОЩЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ

Можно с горьким упоением размышлять по поводу того, что обреченность человека — уже в том, что никогда не может он полностью достичь того, чего хочет. И что это мудро, что жизнь заглохла бы, если бы не хотели мы несбыточного, не ставили задач выше своих возможностей. Но разве могут такие рассуждения насытить голод неудовлетворенности? Разве заглушат они боль от того, что уже осуществившееся было, то, что стало сильнее и желаннее самого дорогого из реального, доступного, вдруг ушло из рук?

Незадолго до вскрытия реки пришла телеграмма: немедленно, до ледохода, отправить в село, километров за сто, двух охранников, пятнадцать рабочих и Калистова. Они должны приготовить место для людей и груза, которые придут туда с первыми пароходами. Мы лишились одного из самых верных друзей — и ничего не могли сделать, чтобы его задержать. Калистов уехал, совсем сраженный; прощаясь с Редой и со мной, он едва не плакал. А я напрасно успокаивал их, говоря, что к сроку, до которого оставалось больше месяца, я сумею вернуть Калистова: я сам не верил в это.

Сразу после отъезда Калистова — новое несчастье: цынга свалила три четверти наших людей. Всю зиму не было овощей, мы питались хлебом, крупой, сушеной картошкой и цынга давно точила людей — теперь, с теплом, почти все рабочие лежали в лежку. Будто это тоже было знаком судьбы, свалила цынга и Реду, железного таежника-сибиряка, легко сносившего лишения. Весь план на смарку: я остался один.

Меня будто вздернули на дыбу. Сошел в лесу снег, поднимались и зацветали травы, распустились листья березы и ольхи, — голову кружило и от липкого запаха весны, и от со-

знания, что рушилась воскресавшая нас мечта. Прошел на реке лед, уехал Федотов, все еще напутствуя, — но дороги больше не было. Призывно плескала вода, я покупал лодки для группы, приглядываясь, какая лучше подойдет для нашего замысла, — а он уже перестал существовать. Зачернели склоны гор, весна согнала с них снег, оставив его сиять на вершинах, — горы придвинулись еще ближе. Они будто дразнили: иди, мы близко, мы ждем... Я отворачивался и поскорее уходил с берега...

Недели через две больные начали выползать из бараков, греться на солнышке. На них жутко было смотреть. Скрюченные руки и ноги, черные лица, воспаленные слезящиеся глаза; только некоторые цынготники, опираясь на палки, могли кое-как ковылять, другие ползали. Лекпом говорил, что лечить нечем и болезнь надолго: как работники, больные выйдут из строя на все лето. Я и без него знал, что помочь могут только лук, чеснок, свежая картошка, молоко — то, чего у нас не было. Не было их и на базе экспедиции: там сотни человек тоже лежали в цынге.

Я доставал в деревне немного молока и два-три раза в неделю приносил Реде, украдкой, чтобы не видели другие. Но Реда не пил при мне и я знал, что потом он делился с товарищами, так что на его долю могли оставаться капли. Они не поднимут его на ноги: я понимал, что надежда на выздоровление Реды вполне призрачна.

Когда я приходил, Реда отползал подальше, чтобы можно было поговорить. Как часто бывает, именно этого великана болезнь поразила, может быть, сильнее других. Он совсем обессилел и страшно становилось, когда Реда, с трудом двигая по земле руками и извиваясь огромным телом, подтаскивал себя, переползая на другое место.

— Не судьба, друг, — словно виновато говорил он. Я не решался обманывать его утешениями, что, мол, он скоро поправится и мы уйдем: Реда — человек большого мужества.

— В этом году я больше не ходок, — говорил Реда, стараясь улыбнуться. — Может, выживу, тогда на другой год, если Бог приведет. А ты иди, чего ждать. Пользуйся случаем, пока здоров. — У меня не было и намека на цынгу, как и еще человек у двадцати в группе.

— Не дело, Реда, — отзывался я. — Вместе думали, вместе и ушли бы. А так — вроде как покинуть вас.

— На все воля Божья. Чего же покинуть? Ушли бы, если б не случай такой. В нем никто не виноват. А свой случай упустить — Бога гневить.

— Один не уйдешь.

— Одному, верно, нельзя. Хвощинского в товарищи возьми. Вдвоем, полегоньку, и ступайте.

— Я его не знаю. Что он за человек?

— Да и я его не больно знаю. Они все с Калистовым были. А думаю, ничего. Да тебе что: в походе каждый сойдет, вы одним будете связаны. Как один, по нему и другой поравняется. А выйдете на-люди, разделитесь, каждый своей дорогой пойдет...

Я и сам чувствовал: нельзя упускать случай. И странное дело: как ни дыбились мысли и чувства, как ни был я убит крахом нашего замысла, где-то глубоко во мне ворошилось смутное ощущение, что крах этот — не совсем настоящий. Не вышло одно — выйдет другое. Будто под спудом болезненного смятения оставалось и жило какое-то твердое ядрышко: надежда все равно сбудется, желание все равно облечется в плоть...

Поставив крест на одном, я исподволь начал готовить другое. И пока со стороны присматривался к Хвощинскому. Среднего роста, худощавый, но широкий в плечах и груди, он должен быть физически сильным и выносливым. Цынга его тоже не коснулась. Ходил Хвощинский прямо, высоко держа небольшую круглую голову. Лицо почти квадратное, с островатыми скулами и упрямым подбородком. Рыжеватые волосы, белобрысые усы; глаза смотрят смело и открыто. Может быть в них — чуть смущающая меня лишняя заносчивость? Или — это лицо только гордого, решительного человека, знающего себе цену? Похоже, что для нашего предприятия Хвощинский подходил. И другого нет. А случай нельзя не использовать и Хвощинский, зная обо мне, наверное, от Калистова, встречал мой взгляд жадно ожидающими глазами.

Я готовился, ничего не говоря ему. И только тогда, когда, по мнению Реды, в тайге подсохло и можно уже было двигаться в путь, я позвал Хвощинского в хозчасть. Он согласился сразу...

Днем я простился с Редой. Пересмотрел вещи, бумаги, все, что не нужно, выбросил или уничтожил. Из вещей взял са-

мое необходимое, такое, что не могло выдать, откуда я. Пересчитал деньги: своих около пятидесяти рублей. Еще в кассе — двести с лишним. Кража, конечно, но у нас украли неизмеримо больше, а деньги будут нужны — положил в карман и эти. В кассе еще много лагерных денег, для заключенных — жаль, они нам ни к чему.

Вечером, часов в одиннадцать, взворошил одеяло на койке: если кто случайно войдет, пусть думает, что я спал и на минуту вышел. Осмотрелся: сюда я больше не вернусь.

Во мне ни волнения, ни суеты, я абсолютно спокоен. К этой давно ожидаемой минуте душа и тело словно собрались в комок. И обострились еще больше чувства: движения четки и уверенны. Ничего лишнего. Будто вместе с уничтоженным ненужным барахлом я выбросил на время лишнее и из себя. И тело оказалось легким и странно напружиненным: легко и вместе с тем крепко.

Автоматически прислушиваясь и не оглядываясь, неторопливо выхожу из барака — не на дорогу, а в лес. Не раз пройденным для проверки путем прошел к кустам за поворотом дороги. В кустах ждет Хвощинский. Увидев меня, он молча и суматошно обрадовался. Стороной мелькнула мысль: неужели он думал, что я могу не придти?

Охранники, я знаю, дуются в карты или спят. В лес их ночью не выманишь. Теперь только не наткнуться на начальника группы, любителя шляться во всякое время по лесу с ружьем. Может быть, он где-нибудь поблизости?

Шагая размашисто и сторожко, чтобы не хрустнула под ногами случайная ветка, идем лесом, вдоль дороги. Белая ночь раскинула между деревьями чуть заметную пелену. В стороны видно далеко. Не шелохнет ни один лист. Слышен только шорох наших шагов; слух ловит даже дыхание соседа, он готов броситься на каждый шелест, чтобы предупредить. Но ничего нет, все замерло, может быть, спит. И только мы двое идем по лесу.

Вот и река. Деревня застыла; она тоже словно умерла, прикрытая прозрачным пологом белой ночи. Темный сарай в стороне смотрит насупленно. Вода неподвижна, не всплеснет: река остановила свое течение. Над самой водой ползут, расплываясь, ажурные клочья тумана.

Открываем склад. Надеваем черные бушлаты, на вате: они одинаковы с гражданскими; новые сапоги. Припасы приготов-

лены: отсчитаны банки консервов, отложены сухари, сахар, крупа, соль, табак, спички — все, что нашлось в складе. На готове лежат плащи, парус, топорик, веревки, два компаса, другая мелочь из снаряжения: все предусмотрено, но пока не уложено в рукзаки, на случай, если кому вздумалось бы заглянуть в склад. Уложить часть в два тоже приготовленных геологических рукзака, а часть снести в лодку — дело пяти минут.

Одна дверь склада — прямо к реке, к досчатому помосту: строилось под моим наблюдением. К помосту привязаны лодки; для нас я заранее выбрал лучшую, хотя хороших лодок тут нет. Сойдет и эта.

Вещи погружены, все кончено. Запираю склад, оставляю ключ в замке: теперь все равно, и не брать же его в тайгу. Молча показываю Хвощинскому: садись на руль. Отвязываю лодку, отталкиваю, скольжу на скамью к веслам: концы отданы.

Мы крадемся у берега, чтобы не увидели из деревни. Как когда-то на Волге, опускаю весла в воду неслышно, без всплеска вырываю из воды: у нас, у ребят, считалось особым шиком уметь так грести. Теперь пригодилось: мы скользим беззвучно.

Это даже не нужно: берег мертв. Очнувшаяся вода подхватывает лодку, несет с собой. Уплывают деревня, склад — их обступила и уже закрывает темная стена неразличимого леса.

На душе тревожно. Сплелись спокойная радость, настороженность и почему-то тоска. Я смотрю на уплывающую пристань, зная, что этих мест я не увижу больше никогда...

ПЕРЕД ТАЙГОЙ

На севере рассвет незаметен: белесая дымка ночи неуловимо сменяется прозрачностью раннего утра. Если не пасмурно, на востоке алеет небо, но солнца еще не видно: оно за горами. Потом алмазно вспыхнут снежные вершины, словно надев искристые короны. И белая ночь переходит в день.

И тут, когда полагается быть рассвету, часто поднимается ветер. Будто смена времени должна проходить в бореньи: ночная неподвижность не уступает, не сдается — день должен ее побороть.

Перевалив на восточный берег, к утру мы проплыли километров пятнадцать. Скользили по глади, как по асфальту — и вдруг поднялся встречный ветер. Он взбил воду барашками, погнал ее на нас и не хотел дальше пускать, — а нам дорога каждая минута.

Река разделилась: длинный песчаный остров, весь в зеленом ивняке и камыше, — они поднимались прямо из воды, — отгородился от берега широким проливом. Мы поплыли в него, надеясь, что волнение в проливе меньше. Но Хвощинский, плохо умевший грести, не справился с противным ветром и нас загнало в ивняк, в котором грести нельзя совсем. А вода кипела, захлестывала через низкие борта лодченки и грозила потопить.

Работая кормовым веслом, я изредка взглядывал на Хвощинского и с удивлением увидел, как он растерялся. Больше — испугался. Он со страхом смотрел то за борт, то в лодку: под ногами уже плескалась лужа. Он не пытался грести и только хватался, вполне бесполезно, за гибкие камышины, как за соломинки.

Сначала это показалось только любопытным. Я был уверен,

что мы выберемся: на Волге приходилось бывать не в таких переделках. Большой опасности нет — чего он так испугался? Вытолкнув рулевым веслом лодку из ивняка, я сказал Хвощинскому, чтобы налег на весла, а сам впервые подумал: кого послала мне в спутники судьба? Может быть уже тогда, еще неуловимо для сознания, во мне зародилась даже крупинка презрения к нему.

Но некогда было думать о пустяках: уже утро и надо глядеть во все стороны. Мы выбрались из проливчика, прижались к берегу; ветер скоро утих и река успокоилась. И тут мы увидели впереди, на лысом пригорке: две женщины и мужчина копошились, занятые каким-то делом. Сворачивать некуда, а они обязательно увидят и заинтересуются: плывущие по реке незнакомые люди — событие, которое нельзя пропустить.

Мы налегли на весла, но нас уже увидели: оставив работу, люди на бугре выпрямились и старались разглядеть, заслоняя руками глаза от солнца. Мужчина что-то крикнул на местном языке, — подлаживаясь к нему, я прокричал в ответ что-то бессмысленное, чтобы до них долетел только звук голоса. Мужчина крикнул еще — для солидности чуть повременив, я опять отозвался, как в первый раз, — они смотрели на нас и, наверно, недоумевали. А мы старались грести изо всех сил, чтобы миновать их, и я искал впереди спасительный изгиб, который скрыл бы нас от этих людей, чье несносное любопытство могло погубить.

Но опять, присматриваясь к себе словно со стороны, я видел прежнюю раздвоенность. Опасность ощущалась будто только внешне, а внутри было твердое убеждение, созданное чем-то неизвестным: пока ничего грозить нам не может. И волнение реки, и люди на бугре, и вообще все, что еще будет впереди — это только мнимые опасности, мнимые помехи. С нами ничего не случится, по крайней мере теперь и еще какое-то время, а дальше будет видно. Это ощущение было, как слепая вера, родившаяся еще зимой и ее ничто не могло поколебать. А она давала ту уверенность в своих силах, без которой наше предприятие было бы невозможным. Но получалось как-то так, что вера эта не мешала тому, что оставалось на поверхности чувств — не мешала зорко всматривающейся и вслушивающейся настороженности. Может быть потому, что

внешние помехи не имели права помешать воплощению замысла, который в душе уже совершился. Оставалось только неизвестным, до каких пор, до какого предела этот замысел предопределен...

Солнце было уже высоко, когда мы достигли притока, намеченного на карте. Этот приток начинался где-то в горах и в нижнем течении перпендикуляром лежал на карте к реке, по которой мы плыли. Мы свернули в него.

В устье он был широким, но скоро разбился на мелкие рукава, начал мелеть и приобретать силу своенравной горной речки. Усталые, мы старались забраться как можно дальше, но часа через два у нас не хватило сил бороться с течением, да и дно лодки зачертило по камням.

Выбрали укрытый висящим над водой кустарником омут поглубже и пристали к берегу. Выгрузили снаряжение. В парус, — он так и не понадобился, — завернули тяжелые камни и утопили его. В дне лодки прорубили дыры, нагрузили лодку булыжниками — утопив и ее, внимательно проверили, не видно ли лодку под водой. И только после этого посмотрели вокруг с новым чувством: больше нас не связывала и река.

Торопясь, распределили груз и уничтожили следы нашего пребывания на берегу. Надо поскорее уходить и отсюда. Нацепив на руку компас, я поискал ориентир: восток пришелся на самую высокую вершину гор. Этот ориентир мы будем видеть почти всегда. Прицепив к поясам котелки, чайничек, топорик, мы взвалили рукзаки на спины и двинулись прямо на восток.

Но мы быстро выдохлись. Пот заливал глаза, белье можно выжимать. Мы слишком навьючились. Не считая мелочей и запасной одежды, взятой для того, чтобы не выходить из леса оборванцами, на каждого приходилось коробок по двадцать пять консервов, килограммов по пять крупы, по пять — сахара, сухарей, пресованного компота: я не скупился, беря продукты. Рукзаки наши раздувались, как набитые булыжниками, а поверх к ним прикручены еще тяжелые брезентовые плащи.

Для начала освободились от плащей, хотя и жаль: в сырости тайги они пригодились бы. Мы отодрали пласт мха, вырыли яму, втиснули туда плащи, засыпали землей, утрамбовали ногами, уложили на прежнее место отодранный пласт. Ни один глаз не определил бы, что тут, под мхом, что-то

лежит: таежная первобытность восстановлена целиком. Разве только ищейка унюхала бы след. Но у наших охранников не было собак.

Пошли дальше. И опять, часа через два, выдохлись и с отчаянием поняли, что и с оставшимся грузом нам не уйти.

Решили освободиться еще от части груза. Подошло и время обеда. В густом кустарнике развели костер; чтобы меньше дымило, собрали самые сухие сучья. И в двух котелках сварили суп, которого я не ел ни до этого, ни после: из одного мяса. Но жаль бросать продукты, лучше побольше съесть.

За обедом приняли решение: лагерную одежду бросить, переодеться в запасную, штатскую. Установить твердую норму питания: по коробке консервов на человека в день, граммов по сто пятьдесят крупы, сахару, компота, по триста сухарей. Еще табак, всякая мелочь: все равно на каждого приходилось пуда по полтора. Однако, ноша будет постепенно уменьшаться. Идти примерно две недели: дня четыре — до гор, дней шесть — перевалить горы, еще четыре дня — километров сто по ту сторону гор до первого жилья.

Перепаковали из нового расчета продукты, переоделись. И бросили остальное, со стесненным сердцем шутя, что оставляем богатство медведям. Опять отодрали пласт мха, уложили в яму одежду, консервы, высыпали сахар, крупу, сухари, компот. Делали это с чувством, что совершаем святотатство: люди голодают, а мы уничтожаем еду. Особенно было жаль большие куски колотого сахара: такого не видели давно. И в экспедиции он был неприкосновенным запасом. Я не удержался: потихоньку завернул в платок пять-шесть ослепительно-белых кусков и спрятал на дно рукзака.

Залили костер, заложили уголь и пепел тоже кусками мха. Тщательно уничтожили все следы нашего пребывания тут. Взвалили показавшиеся теперь легкими рукзаки на спины и заторопились: надо наверстывать потерянное время.

В СВОЕЙ ВОЛЕ

Эти первые дни не были легкими, как, впрочем, и весь путь, о котором речь еще впереди. Мы шли, насколько хватало сил, не чувствуя от усталости ни ног, ни спин. А вместе с тем чувство необычайной легкости словно растворяло усталость без остатка и мы могли, чуть отдохнув на коротком привале, вставать и снова идти, как будто позади не было с трудом пройденных километров. Вполне можно было бы сказать, как в дешевых романах: мы не шли, а летели, как на крыльях, хотя никаких крыльев не было. И как ни ныли натруженные ноги, о них и о пудовом рукзаке за плечами в любую минуту можно было забыть и остаться только в окрыляющем чувстве освобождения.

Мы почти не разговаривали: каждому надо было справиться с тем, что делалось в нем самом. Мы вдруг выпрыгнули из всех обязанностей, которые накладывала на нас только что оставленная жизнь. И словно не мы, не сознание, которое хорошо понимало, что происходит с нами, а само наше тело и заключенный в нем дух, уже натренированные и приспособившиеся к навязанному им распорядку, теперь не знали, как им быть. Они вели себя непонятно и ими было трудно управлять; они вырывались из подчинения, хотя и следовали за вырвавшимся тоже из плена сознанием. Иногда их вдруг охватывала буйная, раскованная радость, от которой хотелось остановиться и загоготать, завыть по-звериному на всю тайгу о неожиданно обретенной воле; то вдруг их сжимала тревога, неверие: может, никакого освобождения нет и чувство это — ошибка? Но тревога быстро изчезала, наверно потому, что глубже продолжала прятаться уверенность: это — на яву и не может быть ни отнято, ни изменено. Эта тайная уверен-

ность питала уже не буйную, а тихую светящуюся радость, проникавшую в каждую клетку тела, — она заставляла усталость исчезать и уже не кричать, а молча и радостно улыбаться от счастья, не имевшего ни крупинки вздора или обмана: это было настоящее, редкое счастье.

Я шел, чувствуя в себе не одного человека, а словно сразу несколько и они реагировали каждый по-своему. Я глядел на деревья, траву, на речки и озера так, как будто видел их в первый раз, хотя за четыре долгих года на севере навидался их до того, что давно тосковал по родным степям. Теперь они были другими, — другими были и солнце, небо, воздух, до того тут прозрачный, что, казалось, в нем можно было бы поплыть. Я убеждал себя: это потому, что прежде я смотрел на окружающее, всегда помня за собой проволоку и бараки, а тут их не было и возвращаться не надо, — это все равно не убеждало и видимое казалось другим. Я попросту смотрел на него теперь другими глазами и сам был другим — вот с этим-то новым человеком и надо было осваиваться, чтобы почувствовать себя опять самим собой.

Тайга раскидывалась диким неодолимым богатством. Из-за леса открывались поляны, — они волновались сочным изумрудом травы по пояс или стелились мшистым, затканным бледными северными цветами пестрым ковром. Трава оплетала ноги, не пускала и каждый шаг требовал усилия, — в ковре ноги утопали и казалось, что идешь по разбросанным подушкам, вихляясь в стороны в инстинктивных и часто тщетных попытках ощутить под собой твердь. Полчаса ходьбы по таким подушкам — колени начинали дрожать, тело обливалось потом, мучила одышка. Хотелось прекратить сопротивление и лечь в ковер, как в постель.

Потом шло переплетение малинника, смородины, орешника — цепко закрывая с головой, они вставали непроходимым заслоном, его надо прорубать топором. Мы обходили эти заслоны, делая лишние утомительные километры. Обходить приходилось и множество заросших осокой, водяными лилиями и кувшинками озер и молчаливо враждебных болот. Не всегда болота удавалось обойти: извивами едва заметных берегов иногда они уходили в стороны на десятки километров. Не найдя конца, мы вырубали длинные шесты и, взяв их посредине, чтобы не терять времени пересекали болота напрямик. Если бы чуть державший травянистый покров разорвал-

ся и мы провалились, концы шестов удержали бы на поверхности и помогли выбраться. Мы осторожно шагали по ярко-зеленой траве, в зелени которой было что-то явно ядовитое, и тревожно следили, как колыхался под нами тонкий ковер, волнами расходясь в стороны. Иногда, в двух-трех шагах, он прорывался — темным фонтанчиком выбрызгивала струйка черной воды, напоминая, что под нами бездонная хлябь. Выбравшись на другой берег, мы облегченно вздыхали, хотя и знали, что впереди ждут новые болота и что надо опять продираться сквозь кусты, траву, лесные чащи.

Тайга оказывала равнодушное, тупое, поразительной стойкости сопротивление, — как всякая огромная инертная масса, может быть, и как масса человеческая. Это сопротивление можно преодолевать, продираясь сквозь него или подминая его под себя, только проявляя упрямую настойчивость, ту почему-то возведенную теперь чуть не в добродетель грубую напористость, которая так мне ненавистна. В ней есть что-то унизительное для человека, будто превращающее его в ловкую, сильную, умную, но все-таки скотину. Человек не рожден только для борьбы, для одного преодоления вечного сопротивления: иногда нужно и отдать себя ему, инерции, массе, может быть так же, как человеку нужен сон и отдых, потому что и в этом сопротивлении должны быть свои мудрость и право. И одолевать их можно и нужно только тогда, когда впереди у тебя большая цель, принадлежащая не одному тебе, но и той же массе, — наверно, только это может оправдывать твое упорство, которое иначе было бы лишь эгоистическим, скотским насилием. И сколько бы в этом правиле ни содержалось опасности, другого нам все равно не дано.

Не думая об этом, мы и так знали, что больше, выше нашей цели нет ничего. Разве наш поход, с первого его шага, не поход за человека, против тупого удавьего рыла? И не думая мы знали, что надо упорствовать. Не могло возникнуть и намека, что мы можем быть не правы.

Торопясь, мы шли, вглядываясь в каждый куст и в просветы впереди. Всполошились птицы, загомонили тревожно: не вспугнул ли их человек, разыскивающий нас? Прислушиваясь, мы скользим по траве, потеряв вес, неслышные, как привидения. Из-за деревьев открылась большая поляна, вдали на ней пасется корова. Откуда тут корова? Значит, близко и человеческое жилье, а оно может погубить наше дело: ему еще

надо быть подальше от людей. Крадемся, пригибаясь к земле, — а, да это попросту большой дикий олень! Издалека его можно принять и за корову. Дальше на опушке еще четыре желтых пятна; мы выходим из-за деревьев, свистим — олени поднимают головы, с любопытством разглядывают никогда не виданных ими людей; что-то сообразив, они закидывают головы к спине и мигом исчезают в лесу.

Только в сумеречные ночи, на длительных привалах, можно отпустить подпругу и телу, и воле. Выбрав низинку, где огня не видно издали, мы разводим костер, варим ужин. Ночи холодны; покончив с едой, кладем на огонь крест на крест целые деревья: так они будут гореть до утра. Ложимся ближе к огню и дежурим по очереди. Спутник засыпает, а я лежу, смотрю то в огонь, то в раскинутый в кустах сумрак, и бездумно прислушиваюсь к таежной ночи, целиком, без остатка растворяясь в спокойной радости.

Не знаю, может ли ее понять тот, кто ее не испытал? Для этого надо годы пробыть на положении человека, в сознании остающегося им, а на деле превращенном в существо, обреченное на рабское подчинение. Смириться до конца нельзя, протест в тебе не угасает — словно уравновешивая его мощным инстинктом самосохранения, ты будто балансируешь на режущей человека в тебе до отказа, до звона струны натянутой проволоке, готовой ежеминутно лопнуть. Каждый миг ты можешь лишиться даже этой мучительной опоры и сорваться в пропасть. И после этого очутиться в тайге, отданным в свою волю, в свою власть.

Можно бесстрастно анализировать человеческие чувства, находить им объяснение и где-то регистрировать. Получится, наверно, ряд изображений, вроде раскрашенных картинок анатомического атласа. По ним врачи могут ремонтировать один или другой развинтившийся участок нашего организма. Но многим ли удается схватить не три-четыре пера синей птицы, а поймать ее всю и вдруг постигнуть целиком, во всех ее связях, в каждом ее движении? А три-четыре пера — это часто пустяк, по которому ничего не разгадать.

Прежде мне приходилось много думать о побегах. Не удивляясь им, я недоумевал: почему, например, воры, не готовясь и зная, что никуда они не убегут, нередко вдруг «срывались» и исчезали? Их скоро ловили и приводили обратно: пожив на воле, в лесу, два-три дня, реже неделю, они забирались к

крестьянам и попадались. Теперь, в тайге, я поймал эту синюю птицу: «урки» знали, что попадутся, — но они и не хотели убегать. Им хотелось только побыть немного в своей воле, испытать ни с чем несравнимое чувство быть самими собой. Они убегали, повинуясь внезапно вспыхнувшему властному инстинкту, о котором они и не догадывались. Но то, что этот инстинкт был в них, сразу превращало «урок» в людей, на какой бы последней ступени они не стояли. Так иногда в Соловках, на острове, с которого не убежишь, человек вдруг уходил на неделю-другую в лес, чтобы потом за попытку побега быть отправленным в изолятор на Секирной горе и погибнуть там. Смерть освящала этот безрассудный поступок — подвиг утверждения человека в себе...

Плывут обрывки мыслей; память подставляет расплывающиеся образы только что оставленного прошлого; внимание и слух по привычке напряжены и ловят каждый шорох, а дух и тело бездумно отдаются покою найденной воли. Костер стреляет тусклыми звездочками раскаленных угольков, за кустами, стелясь над пропитанной влагой таежной землей, плывут мутные волны предутреннего тумана. Так, в этом океане вечности, лохматились и плыли они тысячу и много тысяч лет назад. И так же наверно сидел первобытный человек у костра и бездумно смотрел в нервно бегающее пламя.

Сквозь слипающиеся веки смотрю в огонь и в его отблеске не то чудится, не то снится, что на нас не ватные бушлаты, а звериные шкуры, рядом — не закопченные котелки, а глиняные черепки. Сливаясь с первобытностью, мы — как вечные люди на вечной земле...

В КАМЕННОМ ХАОСЕ

Горы подошли сразу и как по расписанию: ровно в исходе четвертого дня. Я часто сверялся по снежной вершине: она не придвигалась. Соседние горы громадой дымных массивов подходили ближе, мы уже различали в них трещины-ущелья, а вершина ориентир оставалась на месте, как недосягаемая цель. Теперь она неожиданно оказалась высоко над нами, почти над головой.

Лес расступился поляной — вдали она крутым ровным склоном, как холмом, уходила ввысь, так, что вершины холма не было видно. Начало гор. Первое чувство — радость: наконец-то добрались! И наконец-то будет сухо. Нас измучила сырость: в тайге одежда не просыхала, в сапогах всегда хлюпало. Торопливо зашагали по склону, прошли половину — и в недоумении остановились: жесткая, как щетка, трава на склоне была насквозь пропитана водой! Под ногами чмокало, — как удерживалась вода на этой крутизне, вопреки законам физики не скатываясь вниз? Мы не только огорчились, мы возмутились такой несправедливостью: мы так надеялись! А в горах оказалось не суше, чем в тайге.

Холм кончился узкой площадкой-террасой. Она переходила в новый холм, — мы взобрались и на него и опять попали на террасу, за которой поднимался уже третий холм. Мы взбирались в горы, как по гигантским ступеням, — какой зодчий их возвел?

Терраса третьего холма уткнулась в отвесную каменную гряду. Пошли вдоль, как мимо забора; нашли узкую расщелину, свернули в нее. Темным извилистым коридором она вела на восток. Спотыкаясь о камни и держась за стены, мы долго шли, не зная, не зайдем ли в тупик. Чуть посветлело; щель

раздвинулась, превращаясь в ущелье. Опускаясь, оно становилось шире, от него ползли в стороны другие щели. Мы шли по главному руслу, надеясь, что скоро спустимся в долину, но никакой долины не было. По бокам исковерканными стенами поднимались закопченные утесы: мы идем, как в преисподнюю. Над нами в вышине ползут клочья серых облаков, проходя над утесами, как сквозь зубья гребешка. И тут не так, как в тайге, лишь белесо-туманно: от черных стен сумерки сгустились в темноту и оборвали белые ночи. В темноте чуть слышно шелестел между камнями холодный ветер.

Прошло полчаса — ущелье не менялось. Мы устали, а конца ущелью не было. Нашли место, где острым мысом нависла невысоко каменная глыба — получилось подобие пещеры. Укрываясь от ветра, забрались в нее на ночлег. Костра не могли разложить: вокруг ни кустика, ни деревца, ни травки, один камень. Кутаясь в бушлаты, ворочались на камнях до утра и тревожно думали: невесело встретили нас горы. Не ловушка ли в них?

Продрогшие, встали рано, подгоняемые чувством подавленности. Опять ползут над нами тучи, прочесываясь сквозь гребни каменных гряд. И вдруг, за поворотом, ущелье раздвинулось, оборвалось вниз каменной путаницей — мы оказались над широкой долиной, залитой радостной игрой солнца. Зеленеет внизу дремучий лес, подернутый чернотой густых теней, напротив снова поднимается пологая зеленая гора.

Скользя и прыгая с уступа на уступ, спускаемся в долину, оглядываемся: за нами высоченная каменная стена. Сразу отлегло на сердце: и потому, что одолели стену, и потому, что она надежно закрыла нас от тайги...

До полудня пересекли заросли долины, поднялись на зеленую гору. Перевалив через вершину, остановились в кустах на обед. Пока закипало варево, я опять поднялся на вершину. На восток, на север, на юг открывалось море каменных гор и зеленых, как та, на которой я стоял, гор-холмов, лощин, впадин — конца им не было. Валами поднимались мощные каменные гряды; на севере, совсем рядом, недоступно уходил в небо узкий пик нашего ориентира. Его острые скалистые склоны в трещинах — в них фиолетовый снег; вершина в снегу, как в вате, сияет холодно и ослепительно. Цепляясь за ребра скал, мимо пика плывут облака, белые комочки низко катятся и над другими горами. Похоже, я стою в воде, беско-

нечным океаном разлившейся над землей, а облака плывут по самому верху воды, как легкая пена. Но вода — воздух — прозрачна и тоже легка, величие голубого безбрежия не гнетет, беспредельная воздушная ширь полнит радостью, от которой хочется воскликнуть: хвала создавшему такой простор!

На западе высится каменная стена, которую мы прошли вчера. Чуть к югу, она, оказывается, обрывается и рядом с ней — тоже пологая зеленая гора. Между ней и каменной стеной осталась щель — в нее, как в окно, видна равнина, уходящая за горизонт. Это пройденная нами тайга. Только глядя на нее отсюда можно увидеть: как далеко мы забрались! Я зову Хвощинского, он подошел, посмотрел — и быстро опустился на траву, пригибая меня за руку, испуганно проговорил:

— Смотри, там!

Зараженный его испугом, ложусь рядом, напрасно вглядываюсь в склон горы, мимо которой только-что смотрел в тайгу. Хвощинский ругается:

— Ты как слепой! Вон, вон, двое... И наверно собака, не разберу. Смотри на мой палец...

До горы километров десять и я ничего не вижу. Протер очки — тоже ничего. Потом, может быть поддаваясь внушению, я словно заметил две точки, но так смутно, что не поручился бы, что действительно вижу их. А Хвощинский нервничает:

— Это погоня. Если у них есть бинокль, они могли увидеть нас. Они спускаются в долину — собака найдет наш след. Они могли взять собаку у охотников. Скорее, идем...

Не поднимаясь, мы соскользнули ниже, добежали до костра, разбросали его и, с недоваренной едой в котелке, ринулись вниз. Мы бежали: внезапный страх охватил нас. Не помогало и то, что, помня испуг Хвощинского на реке, я думал, что он попросту паникер: ему померещилось, он ничего не видел, как и я. Он боится каждого куста. Да если и видел — кто найдет нас в этом столпотворении гор, ущелий, лесистых долин?

Но страх затопил рассудок. Могло ведь быть и по-другому: я не видел, а Хвощинский видел. И мы торопливо шли до глубокой ночи, забираясь глубже и глубже в горы. В долинах шли по ручьям, по щиколотку в воде: если собака есть, она потеряет наш след. Перевалили еще три горы, петляли по ущельям и чащам и остановились только тогда, когда выбились из сил.

Утром солнце и животворный воздух, способный растворить

любую тревогу, прогнали страх. Мы поднялись на невысокую гору, осмотрелись: нас окружали такие толпы гор, что было бы чудом, если бы в них нас нашли. Невозможно даже определить, где мы шли вчера: всюду хаос гор, похожих одна на другую, между ними в низинах темнеет лес.

На обед остановились в лесистой долине, забрались в густой кустарник. Жаркое солнце заливало долину, блестело на листьях; пробиваясь сквозь листву, оно цветными бликами сверкало, играло, било в глаза. Хвощинский взялся разводить костер, а я пошел искать воду, — она журчала где-то недалеко в ручье. Я нашел ее скоро, метрах в пятидесяти от привала, набрал котелки и хотел вернуться, — но не мог найти места, где мы остановились! Я шел в одну сторону, возвращался, шел в другую — нет и признака ни Хвощинского, ни костра, ни рукзаков! Везде одинаковая игра солнечных бликов, прыгают световые зайчики, пестрят цветные тени — и ни одной отметины, ничего, что помогло бы ориентироваться. Остановился, прислушался: сквозь журчание воды пробивается насмешливый птичий свист, гудят шмели, а дальше — сонная одурь, тишина. Опять иду в одну сторону, в другую, пробую приглушенно кричать — никакого отклика! Что за наваждение: заплутать на клочке земли в добрый двор! И когда уже не знал, что делать, чуть не наступил на спутника, пестрыми пятнами света замаскированного под смешение путаной игры солнца. Вот и рукзаки, едва тлеющий костер. Хвощинский, ожидая меня, лег и заснул.

Я ничего не сказал ему. После обеда он пошел мыть посуду — и тоже пропал. Подождав, я начал свистеть, аукать — Хвощинский пришел на звук. Он тоже был изумлен и обрадован: найти нас в этой путанице света и теней нельзя!

Часа через два я опять потерял Хвощинского. Мы вышли из долины — на пути к востоку встала высокая гора, каменной грядой закрывшая север. Пошли по ее южному склону.

Это была странная гора: из огромных камней, кучей наваленных один на другой и ничем не скрепленных. Будто великаны, возведя горы, оставили тут груду строительного материала и забыли о нем. Громоздились ровные, словно отполированные глыбы в дом, много глыб с большой стол — между ними щетинился острый щебень. Перепрыгивая с глыбы на глыбу, мы медленно поднимались, слушая, как глубоко под нами, в недрах странной горы, звенят ручьи.

Недалеко от вершины сели отдохнуть — отсюда начинался склон на восток. Я решил забраться на самый верх, посмотреть, Хвощинский не захотел и остался отдыхать.

Взойдя, я невольно попятился. До самого верха громоздились камни — и обрывались, отвесной стеной упав вниз. Напротив, почти рядом, тоже черная, немного пониже, отвесная стена — между ними уходило в неразличимую глубину узкое ущелье, направо смыкавшееся перемычкой-гребнем. Через гребень ползли лохматые тучи, — перевалив, они спускались и клубились, ползли, сталкивались в этой узкой черной щели, у меня под ногами, как смрадные хвосты дыма из какой-то гигантской кухни. Дна ущелья не видно, оно скрыто дымными хлопьями — из-под них доносится клокочущий рев горного потока.

Я с полчаса просидел на вершине, прикованный к этой зловещей красоте. Что это, иллюстрация к дантову аду или сама адская кухня? Мысли не шли на ум, можно было только ощущать, как давит, гнетет тебя, пылинку, дикая, ни с чем несравнимая мощь этого хаоса — начала первоздания, перед которым мысль бессильна и любое творение человека — только игрушка.

Потрясенный, я пошел назад — и не увидел Хвощинского. Нагромождение камней, резко исчерченное солнцем — серые камни и черные тени изломанными линиями и клочьями пестрели всюду и ни спутника, ни рукзаков среди них не найдешь. Мысленно я разбил ближайшее пространство на участки и начал исследовать их издали один за другим — Хвощинский лежал в тени большого камня и опять спал...

Спустя годы я встретил человека, тоже бежавшего из концлагеря через эти горы, только еще севернее. Он рассказал мне такую историю: молодой ленинградский студент, как и я, он шел с товарищем. И они набрели на такую же гору из камней, — их там немало, — и забрались на вершину, обрывавшуюся в пропасть. Рядом лежали мешки. Вдруг камни поползли — студент с ужасом увидел, как полетели они вниз и с ними — его друг. Сам он ухватился за выступ скалы и удержался, а друг его исчез в пропасти, дна которой тоже не было видно и в которой тоже ревел поток.

Оцепенев, он не двигался, еще не веря, боясь поверить и не зная, что делать. Встал, пошел осторожно, вспомнил о мешках,

вернулся: мешков не было, они тоже исчезли в пропасти. Это был второй удар: впереди была голодная смерть.

Сутки он потратил, разыскивая товарища — обогнул гору, спустился на дно ущелья, к потоку, но все было бесполезно: товарища, наверно, унес поток. Не нашел и мешков.

Дней десять он выбирался из гор, шел по тайге, питаясь стеблями трав, еще зелеными ягодами, кореньями. Последние дни уже не шел, а ковылял, полз, стараясь уйти от смерти. И где-то в сердце тайги, за сотни километров от человеческого жилья, случилось чудо: на берегу лесной речки он увидел избушку, около нее — сети на шестах. Не веря глазам, он дополз до порога, открыл дверь: в избушке никого, но стол накрыт холстиной, покрыты рядном два топчана, на полках — посуда: хозяева ушли и скоро вернутся. Он пошарил по полкам, нашел сухари, поел и завалился спать.

Дня три студент прожил один — хозяева не приходили. Он нашел в чуланчике муку, крупу, сушеную рыбу, соль, варил себе еду, ел и спал, отдыхая от тяжкого похода. К вечеру третьего дня явились хозяева: до бровей заросший лохматый старик и стройная, дикая и пугливая девушка лет восемнадцати. Старик не удивился, увидев гостя: как будто в этом не было ничего необычного и гости захаживали к нему каждую неделю.

Старик почти разучился говорить. Но за несколько дней из его мычания и обрывочных фраз студент догадался, в чем дело. Году в девятнадцатом то ли красные, то ли белые разрушили село, в котором жил старик, все его хозяйство и семья погибли, осталась одна маленькая дочка. Он принял бедствие, как конец света, и решил уйти от мира. Погрузив в лодку остатки своего добра, вместе с дочкой старик спустился по реке в низовья, потом поднялся по притокам в самую дремучую тайгу, срубил избушку и прожил тут с дочкой больше десяти лет. Зимой они охотятся, летом ловят рыбу; два раза в году, в начале и в конце зимы, к ним заезжают знакомые, когда-то случайно набредшие на избушку туземцы-оленеводы, забирают добытые меха, отвозят на факторию Пушторга, а взамен привозят продукты, порох, дробь, рыболовные снасти. Рыбу берут себе на еду. И никто, кроме двух-трех оленеводов, не знает о старике с дочкой в тайге.

Студент прожил у них недели две, поправляясь. И не переставал чувствовать себя, как в ненастоящей жизни. Старик был замкнут, неразговорчив — он отвык от людей; словарь

дочки состоял из двух десятков простейших слов. Да она и боялась говорить с человеком, ворвавшимся к ним из жизни, которую она не знала, забыв ее совсем. Как и отец, она была бездумна, молчалива, безулыбочна, ходила неслышно, хотя и была расторопна и ловка какой-то звериной ловкостью.

Старик предложил студенту остаться у них навсегда. Дочке надо замуж — пусть он будет ей мужем. И они заживут дружной семьей.

Студент пробыл в концлагере три года. Отец и мать его были расстреляны, на воле никого у него не оставалось и он был измучен душевно. В концлагере студент иногда даже мечтал: хорошо бы забраться куда-нибудь в глушь, скрыться от людей, не видеть, что творится на свете. Жить только растительной жизнью. И вот — такая жизнь перед ним. Можно ли придумать лучше?

А он возмутился. Может быть, особенно возмутило его слово н а в с е г д а. Остаться здесь навсегда, никогда больше не видеть настоящей человеческой жизни? Ведь тут — только животная, звериная жизнь. Они разучились даже говорить, перестали думать. Перестать когда-нибудь думать и ему?

Дни проходили в колебаниях: действовал и соблазн уйти, похорониться в тайге. А наблюдая за бессловесной девушкой, за ее огрубленным миловидным лицом и глазами, в которых пугающе светилось сплетение живости и мертвой тупости, он восставал против соблазна.

Кончилось тем, что студент увел старика в лес и набросился на него со страстными упреками. Старик губит свою дочь, он вырвал из жизни молодое существо и похоронил в лесу. Он не имеет на это права. Он может распоряжаться собой, как хочет, пусть хоть сгниет в тайге — он не должен губить девушку. Старик выслушал его тупо-покорно и опять предложил: оставайся с нами. Студент заявил, что завтра уходит дальше.

— Это было выше моих сил, — рассказывал студент. — Я готов был вернуться в концлагерь, к чорту на рога, но только к людям, к жизни, какая она ни на есть, а не сидеть лешим в лесу до смерти.

Старик дал ему сапоги, продуктов, проводил, рассказал, как лучше пройти. Еще месяца полтора пробирался беглец через тайгу к большой реке — там его арестовали. . .

Преодолевая горы, я еще не знал этой истории. Но я испы-

тывал подобное же чувство. Широко открытыми глазами смотрел я на величественное и дикое бытие горной земли — оно покоряло и давило мощным первозданным великолепием. Оно рождало и азарт открывателя земель, и задор, как ответ на вызов: одолевая препятствия гор, ты словно подчинял горы себе. А в это время глаза, будто независимо от сознания, уже начинали томиться, что нельзя тут встретить ничего, сделанного человеком. Первобытность была слишком огромной для одного — и она была слишком не нашей, не человечьей. Только неделя прошла, как мы ушли от нашей жизни — вздорной, грязной, ужасной, но это все-таки была человечья жизнь и невольно хотелось и здесь найти ее след.

Где-то тут был перевал, по которому проходил зимний путь, — я проглядел глаза, стараясь на камнях найти хоть одну отметину. Ничего похожего: следы зимника пропадали вместе со снегом. Я продолжал искать — и не столько потому, что надо было найти перевал, самый короткий путь через горы, сколько потому, что любая ничтожная отметина, казалось, как капля живой воды оживит всю эту неподвижность. И когда на одном каменистом склоне, в самом деле похожем на дорогу, мы увидели березовый дрючок, неизвестно как попавший сюда, будто бы обломанный рукой человека и может быть служивший слегой, я долго стоял над ним, взволнованный: тут был человек и своим дыханием коснулся этого места.

Я стоял над слегой, думая о том, как неиссякаема жизненная сила природы и что у человека, части природы, такой силы не будет никогда. И что сила эта извечно враждебна человеку: она всегда и упорно старается стереть его след. Если попасть к ней в плен, она уничтожит тебя. И только там, где одолевают ее человеческие ум и руки, она будто одухотворяется и перестает быть нам врагом. Не мертвая, только через прикосновение человеческого духа она становится по-нашему живой. И потому — разве человек был и остается только частью природы? Разве не назначение его — постоянно оживлять земную жизнь и через это становиться человеком?..

СПУТНИК И ГОРЫ

Тайгу мы прошли, почти не разговаривая. Спутник был беспокоен и шел, постоянно озираясь и нервничая. Но по мере того, как углублялись мы в горы, Хвощинский становился разговорчивее. Будто вознаграждая себя за молчание в первые дни, теперь он болтал без умолку и смеялся по каждому поводу, обнажая остренькие зубы хищника. Да он и оказался хищником, небольшого калибра: в горах он рассказал о себе, хотя я не просил об этом.

Родом из-под Белостока, Хвощинский был из большой, задавленной нуждой семьи мелкого акцизного чиновника. Страстно лелеемой мечтой семьи было «пробиться в люди». В начале мировой войны Хвощинский окончил реальное училище. Подходили немцы — семья эвакуировалась в глубь России, жить стало еще труднее. В конце войны Хвощинский поступил в военное училище и перед самой революцией был выпущен прапорщиком.

— Когда нас произвели и я вышел из училища, я не знал, на земле я, на небе? — рассказывал Хвощинский. — На мне шинелька с иголочки, мундирчик, сапожки — шик, блеск, тра-ля-ля! Иду, кошу глаза на погоны — и глазам не верю: ты это, Юрчик, который недавно в драных штанах бегал и у матери пятаки выпрашивал? Нет, злая насмешка отчаянной судьбы, не я! Я теперь — офицер! Любому могу в морду дать — и ни один городовой не тронет! До меня рукой не достанешь, а для меня весь мир — вот он, на ладошке у меня! Я все могу! У меня морда сама кверху поднялась, иду, сверху вниз на шпаков смотрю: раздайся, грязь, офицер идет!

Даже теперь, через полтора десятка лет, Хвощинский рассказывал об этом с упоением. Наверно, это было его самое до-

рогое воспоминание. Он искренне, даже чисто радовался, не видя в своеи радости ничего зазорного. И о том, как они, группа только что произведенных офицеров, по дороге на фронт где-то в Смоленске или Минске на радостях устроили грандиозный кутеж, с битьем в ресторане зеркал и штатских физиономий, Хвощинский рассказывал, смеясь от счастья.

Судьба на первых порах не благоволила ему: после революции офицерское звание пошло вниз. На фронт он так и не попал, семью потерял: она ему больше была не нужна. Где-то в глуши, в разваливающемся запасном полку, он проболтался до создания Красной Армии, — когда ему предложили вступить в нее, он согласился, не раздумывая. Это все-таки сулило продолжение карьеры.

Нахальство ли его, или особое стечение обстоятельств, только Хвощинский быстро выдвинулся: в конце гражданской войны он командовал полком и имел орден Красного знамени. За что — я так и не узнал: воспоминания о гражданской войне ограничивались у Хвощинского беспросветным пьянством, картежной игрой и женщинами.

В начале НЭПа Хвощинского демобилизовали. Он поступил в милицию большого южного города, но за пьянство, дебоши и растрату казенных денег его скоро уволили, не отдав под суд: с орденоносцами, героями гражданской войны, тогда еще считались. В другом городе Хвощинский попал в финансовый отдел — служба его кончилась уже крупной растратой: он проиграл в карты сумму, за которую его не простили бы. Хвощинский бежал, несколько лет колесил по России, пока случайно не наткнулся на начальника милиции, с которым работал после армии. Хвощинскому дали десять лет.

Для меня так и осталось загадкой: зачем он бежал из лагеря? Повинуясь тому же импульсу свободы? Циник и бесшабашный человек, он не мог не понимать, что его вольная жизнь будет короткой и что в лучшем случае его опять ждет концлагерь.

Я не думал об этом, как и о том, что сам виноват в выборе спутника. Да и выбора не было. Помня слова Реды, я твердо решил: выберемся в места, где можно разделиться — каждый пойдет своей дорогой. А на случай, если что разделит нас раньше, я половину денег дал Хвощинскому, дал ему и один

профсоюзный билет. Мы перевоплотились: перестали называть себя нашими именами и, чтобы привыкнуть, обращались друг к другу так, как было написано в билетах. Вызубрили и другие записи: где мы родились, сколько нам лет, когда и где получили билеты.

Помня разговоры с геологом, я придумал легенду: мы — коллекторы экспедиции Геолкома, под руководством профессора Светлова. Он дал нам специальное задание: пройти горы по намеченному им маршруту, с поверхностной разведкой. Там, где мы были, наш маршрут кончался и поворачивал на восток: тут мы должны выйти к обитаемым местам и ехать в Ленинград, в Геолком, обработать свои сведения, составить отчет и ждать, когда вернется Светлов.

На листках из ученической тетради я написал подобие удостоверений-заданий нам, подписав: «Начальник геолого-разведочной экспедиции профессор Светлов». Не было штампа и печати — их и не могло быть в крохотной экспедиции, забравшейся на кулички. На карте из школьного учебника я начертил будто бы пройденный нами маршрут: получалось убедительно. Чтобы было еще убедительнее, я подбирал камешки с особенно причудливой расцветкой, с вкраплениями — некоторые были изумительные. Каждый я завернул в бумажку, сделал надписи, какие пришли в голову: «SO-65-7» или «NW-128-5». Камешков набралось с килограмм, я рассовал их в карманы рукзаков.

Для начала могло сойти. Если понадобится, добавим, что потерпели аварию, переправляясь через горные речки. Разбился плот и вода унесла полевую сумку, а в ней главные записи и самые важные документы: удостоверения Геолкома и военные билеты. Осталось только то, что было в карманах, мы сами едва уцелели.

Это было правдоподобно: аварию в горах я придумал после переправы через две реки. В каждой долине и в каждом ущелье текли шумные ручьи и потоки, мы переходили их без труда, но попались две большие — они наделали нам хлопот.

В полсотню метров шириной, они были неглубоки: немногим выше колен. Но нестерпимо холодная вода, — она скатывалась со снежных вершин, таявших рядом, — неслась так стремительно, что даже только глядя на нее становилось не

по себе. Прозрачная, как вымытое стекло, по отшлифованному каменистому руслу она волочила с собой большие камни.

Мы отказались от постройки плота, на что надо было бы убить слишком много времени, и попытались обойти препятствие, надеясь, что выше по течению берега сойдутся, загроможденные камнями. Но и в обходе только теряли время: река не хотела сближать берега и продолжала бушевать в бесконечной долине.

Выбрали место пошире: тут должно быть мельче. Для опоры вырубили крепкие палки. Хвощинский обвязался веревкой — я захлестнул ее за дерево и постепенно травил, не спуская с Хвощинского глаз, готовый каждый миг закрепить веревку и выручать спутника, если его собьет вода. Он боролся с течением, пробираясь к другому берегу. Выбравшись, он привязал веревку к дереву, а я обвязался концом на этом берегу, — теперь Хвощинский понемногу выбирал веревку, помогая мне. Шли в одежде, в сапогах: иначе не вынести ледяного холода воды.

До этого я не представлял, насколько упряма, сильна и даже тверда вода горной речки. Она не давала переступать, отрывала подошвы ног от каменного русла, — чтобы сделать шаг, надо, преодолевая напор, сдвинуть большую тяжесть, чуть скользя по дну. Если поднимешь ногу, вода немедленно схватывает ее и несет — ногу уже нельзя поставить на дно и укрепиться. Свирепо злясь, вода кипела, пыталась повалить; палке тоже не найдешь опору, вода вырывает ее из рук, — и когда идешь, чувствуешь себя, будто борешься на жизнь и смерть со злобным и могучим существом, у которого только одна задача: во что бы то ни стало погубить тебя.

Во вторую речку первым полез я. До середины вода не поднималась выше колен и можно было терпеть. Дальше она начала подниматься: выбирая брод, мы не видели, что у другого берега глубже. Надо было проявить нечеловеческое усилие, чтобы удержаться на ногах. До берега осталось всего метра два, а вода подобралась к животу: еще секунда и вода свалит. У самого берега, я видел, было еще глубже, — оттолкнувшись ногами и палкой от дна, я вытянул руки вперед и выбросился руками и грудью на берег — вода выбросила и мои ноги.

На другом берегу мы разжигали костер, сушили одежду и долго отделывались от страха, который внушила нам переправа. Нет, аварию к нашей легенде можно было прибавить: мы заслужили эту прибавку не легким трудом...

Дни уходили, а не было и признака, чтобы горам подходил конец. Мы шли в горах уже дней пять, а у меня было такое ощущение, что мы только в сердцевине хребта. Мы поднимались на высокие вершины, с надеждой смотрели на восток: открывались только новые и новые горы, целые стада гор, и дальние из них, казалось, были не ближе, чем в первый день. Какая-то нескончаемая пустыня гор — когда она кончится?

Перевала так и не было. Может быть, мы шли по нему, а может, давно потеряли, плутая по извилистым долинам. Как его определить, если нет ни одного знака, а долины, ущелья, горы по разному, в десятках вариантов, повторяют друг друга и схожи, как близнецы? А тут еще пошаливает компас: наверно, близко залежи руды и стрелка компаса то и дело вихляется в стороны. Не идем ли мы вдоль гор или пересекаем их не по прямой и этим удлиняем наш путь?

Торопиться надо было и потому, что продукты подходили к концу. Я ругал себя последними словами за безволие, уступчивость: в первые дни пути, когда выходила очередь готовить еду Хвощинскому, он расходовал продукты в два и три раза больше нормы. Я возражал, но он с обезоруживающей беспечностью говорил, что продуктов хватит, а не сытыми мы будем идти медленнее и получится то же самое. Правда, путь был трудный и затрату энергии надо пополнять, но нельзя и не думать о будущем. Слабо возражал я и потому, что Хвощинский был лет на пятнадцать старше, а я много полагался на возраст и хотя уже не раз убеждался, что мудрость возраста и опыта черезчур относительны, еще не отвык смотреть на старших, как на более опытных во всех случаях жизни, а возможно, даже и более умных людей. В конце концов я все же взбунтовался и взял продукты под свой контроль, но было уже поздно: к вечеру пятого дня блуждания в горах еды у нас осталось только на сутки.

А мы сильно вымотались. Мучили переходы через речки, крутые подъемы, сырость. Сапоги разваливались — ноги всегда мокрые. Ночами холодно — мы ложились ближе к костру,

а ночью встрепанно вскакивали: на нас горела одежда, от угольков, которыми стрелял костер. У меня на одежде были прожжены дыры до белья; у Хвощинского от воротника бушлата остались одни ошметки, на спине бубновым тузом выгорела большая дыра, на полах из дыр торчали хлопья опаленной ваты. И как не старались чинить штаны, рубашки, пиджаки, выглядели мы оборванцами. Это тоже угнетало: вряд ли мы произведем хорошее впечатление на тех, кого встретим, выйдя к жилью.

До злобы изводили комары. Мы в накомарниках: широкий обруч обшит тонкой материей и держится на голове, как шляпа; с него спадает частая сетка на второй обруч, который болтается у основания шеи, и дальше на спину, плечи и грудь. Обручи не дают сетке прикасаться к лицу, ушам, затылку. Но северные комары такие бестии, что я серьезно думал, как они изощренно-умны и злостно-коварны.

Серые, большие, они не давали нам покоя с первого дня в тайге. В горах они носились тучами. На них не действовал дым, они, кажется, не боялись даже огня и бодрствовали круглые сутки. Сначала я радовался, когда мы поднимались на высокие голые горы, где дул ледяной ветер: тут комаров не будет. Но однажды меня охватил суеверный ужас. Мы взбирались на гору, навстречу свирепому ветру, комаров не было и я радовался этому, — случайно взглянув на спину Хвощинского, я вздрогнул: черный бушлат его был усеян зловещими серыми пятнами. Не желая расставаться с пищей, комары переваливали гору на наших спинах.

В накомарниках душно, но снимать их нельзя. При еде надо хотя бы приподнимать — комары нападают полчищами, лезут в рот, в нос, в уши и жалят так, что из проколов выступают капельки крови. Надевая накомарник, знаешь, что под ним обязательно есть три-четыре штуки — их надо выловить, иначе они не дадут идти: будешь заниматься только тем, чтобы отбиваться от них. Но они все равно ухитрялись: находили микроскопические дырочки в верхе накомарника и кололи сквозь волосы, как острым шилом.

Это проклятие северного лета, жестокий бич тайги и гор, от которого нет избавления, способен свести с ума. Лица у нас распухли, а ничем не защищенные руки стали вдвое толще, они зудели и чесались: на них не было живого места...

Продукты на исходе, мы устали — надо как можно скорее выбираться из гор. А они все не кончались. Одна долина переходила в другую, за каждой пройденной горой вставали новые и похоже, что мы в громадной мышеловке и нет нам выхода. Горы закрыли от нас цель, лишили простора — выберемся мы или тут погибнем? И теперь, когда мы были наедине только с горами и не могли преодолеть их ничем не прикрытой мощи, впервые зашевелилось сомнение — оно подтачивало ту твердую уверенность, с которой мы пустились в путь. Удастся ли наш замысел? Тут он зависит не столько от нас, сколько от этих проклятых гор, не желающих выпускать. . .

Утром на шестой день гор мы шли по широкой долине, на юг. Слева влилась еще долина — повернули в нее. Высокий мачтовый лес, журчит ручей; долина чуть заметно поднимается, клоня на северо-восток. Идем час, другой — все тот же молчаливый лес, а в нем веселое бренчанье ручья и шмелиный звон. Перед обедом лес начал редеть, мельчать, переходить в кустарник, а долина попрежнему тянется вверх и ей, тоже, как видно, нет конца. Остановились на привал, сварили обед — продуктов осталось только на ужин. Что будет дальше?

Не задерживаясь на отдыхе, пошли снова. Кончился и кустарник — идем роскошным альпийским лугом, сдавленным между гор. Поникла, измельчала и трава, ее сменил мох, лишайник, кое-где приподнимаются, стелясь понизу, уродливые полярные березы. Солнце слепит, но прохладно: лучи почти не греют. Остался позади и лишайник: мы идем по кремнистому, словно укатанному полотну, как по хорошо вымощенной дороге. А долина все поднимается полого и ровно и становится будто жутко: куда она ведет нас? Есть у нее конец и что в этом конце? Прошло много часов, как мы вошли в нее; то и дело сверяюсь с компасом: север-восток-восток. Куда мы поднимаемся?

Долина не выпускает: чем дальше, тем неприступнее горы по сторонам. Они превратились в две отвесные стены, серыми скалами вставшие по бокам широкого коридора, опять поражавшего искусством строителя гор: коридор почти везде одинаковой ширины; горы-стены равномерно поднимаются вместе с нами. Можно догадаться, что это, наверно, ледник когда́-то сполз и гладко обточил пол и стены — сознание этого не мешало накапливаться смутному беспокойству.

Уже под вечер открылась огромная прямоугольная площадка, со всех сторон замкнутая острозубыми стенами. Выхода нет. Мы попали в тупик. Неужели возвращаться назад?!

Идем, исследуем стены. Впереди — груда камней. Будто кусок стены обвалился от времени. В загроможденном камнями обвале — проход. Карабкаясь по глыбам, идем по нему, проходим стену — и останавливаемся, изумленные.

Громадная овальная долина мерцает бледносиреневым светом. По сторонам невысокие фиолетовые горы, скалисто-отвесные, в противоположном конце их едва видно: они скрыты пеленой дали. По краям ровного дна лежит снег, а в середине — эмалевая гладь темносинего озера, тоже теряющегося вдали. И на озере, близко от нашего берега, плавает большой гусь. Только это белое пятно на густо-синем плавно и медленно движется — больше ни движения, ни звука, ни шелеста. Долина кажется видением, застывшим в абсолютном сне. И редкие облака в низком небе висят над ней, как привязанные.

И еще гусь — откуда тут взялся гусь? В долине снег — мы забрались очень высоко, куда незачем залетать гусю. Почему он здесь? Может быть, никакой долины нет, нет и этого гуся и перед нами только мираж, непонятная фантасмагория, возникшая, чтобы увеличить наши испытания? Очнувшись, мы медленно спустились в долину, ступили на снег — слежавшийся, как спресованный, крупнозернистый, он хорошо держал и сочно хрустел под ногами.

Гусь заметил нас, но ничуть не испугался. Он только немного отплыл и с достоинством смотрел в нашу сторону.

Рукзаки пусты, а гусь хорошая мишень. Мы подошли ближе, набрали льдинок и начали обстреливать ими гуся. Он оказался храбрым: не бросился в бегство, а спокойно удалился еще дальше, все еще внимательно и будто удивленно рассматривая нас. Что за диковинные звери на двух ногах появились в его владениях? Наверно, этот гусь никогда не видел человека.

Мы не могли больше достать его льдинками. Пожалев, что не удалось пополнить запасов еды, оставили гуся в покое и пошли, осматривая восточную гору-стену. Впереди она будто раздвигалась. Может, там есть проход на восток?

Нашли узкую щель. По дну, уходя под камни, журчит ручей, из синего озера. Вошли в щель — она не длинна. Вгляделись вперед, взволновались: дальше ничего не видно, одно небо. Спотыкаясь, почти побежали, одолели щель — и опять остановились.

Полого спускаясь, расстилалось сначала зеленое, потом темное, почти черно-зеленое, а дальше синее, в дымке дали сливающееся с небом необозримое море. На север, на восток, на юг, всюду. Мы стояли высоко над ним — оно начиналось у нас под ногами и, опускаясь куда-то в глубину, далеко, не видно глазу, опять поднималось к небу и растворялось в нем. И ни одна гора не смела подняться над этим безбрежием, заслонить его, нарушить простор.

Это снова была тайга, по другую сторону гор. Горы кончились. . .

В КУЛИКОВОМ ЦАРСТВЕ

То, что горы кончились, сильно подбодрило нас. И хотя вечером мы покончили с остатками продуктов, это даже будто не беспокоило. Казалось, что теперь мы безусловно дойдем: из гор выбрались!

В сотый раз я разглядывал паршивенькую карту. Еле заметной точкой стояло на ней ближайшее и единственное в этих местах село. Сколько до него — по моей карте не определить: пятьдесят, восемьдесят, а может и все сто километров и больше? А это теперь — вопрос жизни и смерти. Сколько дней идти до села? И найдем ли мы его в тайге? Почему-то мы уверены, что вот, идя по этому ручью, придем к селу, хотя определиться, где мы, никак не можем. А мало ли таких ручьев течет с гор?

Нам казалось, что долина, по которой мы поднялись на последнее плоскогорье и вышли к синему озеру, была как раз концом перевала: очень уж она похожа на дорогу. Зимой, заваленная снегом, она была бы отличным для оленей путем. Может, как мы ни плутали, а все-таки каким-то чудом вышли к перевалу? Если так, то село близко и мы на верном пути.

Но это догадки, на деле может быть все иначе — тогда до села еще много дней. И лучше поторопиться: мы решили идти, не останавливаясь на ночлег, сколько сможем. После ужина сразу двинулись дальше.

Идти по берегу ручья, спускаясь по пологому склону, легко. Только к утру мы почувствовали, как болят натруженные ноги. Но не надо обращать на это внимания: идти, идти, только в этом спасение. Не надо останавливаться даже на привал, для

завтрака: есть все равно нечего. Перетряхнули рукзаки, просмотрели каждую складку: не завалился ли где кусочек сухаря? Напрасно: в рукзаках ничего съедобного, кроме спрятанного мною сахара. С вожделением вспомнили о брошенных в первый день продуктах: теперь бы их нам!

Пройденное накануне повторялось в обратном порядке. Сначала — голый камень, дальше лишайник, за ним мох. Но тут оказалось хуже: мох на этой стороне лежал периной, ноги уходили в него до колен. От ходьбы по этому мягкому покрову выбиваешься из сил. Но другой ведь дороги нет?

Ручеек постепенно превратился в речку. Он вбирал в себя с обеих сторон десятки малых ручьев, креп, мощнел и раздавался вширь. Вытекая из гор, он едва журчал, но скоро превратился в буйный поток — дня два он глушил нас грохотом. Потом присмирел, разлившись в широкую лесную речушку, плавно струившуюся среди заросших кустарником берегов. Мы с надеждой следили за его превращением: может быть, это и есть та река, которая приведет нас к селу?

Силы уходили, а пополнять их нечем. Тут я узнал, какая чудесная вещь сахар. Его было всего с полфунта. Утром я выдал Хвощинскому и себе по небольшому куску; в обед и на ужин — такую же порцию. На каждого в день пришлось меньше, чем по сто граммов — и все-таки мы чувствовали себя крепче. На другой день по выходе из гор хватило по куску только утром и в обед — и уже вечером мы ощутили, что нам многого не достает.

Тщетно смотрели под ноги, инстинктивно разыскивая съестное. Отдыхая, жевали стебли травы, корни — они ничего не давали. По берегу тянулись заросли смородины, малины — кусты были усеяны ягодами, но еще зелеными. На третий день после гор мы наелись их — нас начало мутить и вырвало. Боясь, что заболеем и совсем не сможем идти, мы отказались от зеленых ягод.

На мокрых лугах нашли съедобные луковицы — их надо было съесть с сотню, чтобы почувствовать относительную сытость. А чтобы найти сотню луковиц, надо потратить много времени — лучше это время идти, подвигаясь к цели.

Начался величественный кедровый лес, — внизу, у могучих стволов, кучами лежала ореховая шелуха, может быть набро-

санная белками. Рылись в этих кучах, надеясь найти орешки, но их не было: белки работали чисто. Наверно, знающие тайгу люди нашли бы в ней пищу, — для нас, горожан, тайга оставалась закрытой кладовой.

На заболоченном лугу из-под ног с тревожным свистом вылетел кулик. Поискали в траве — гнездо, в нем два еще голых крохотных птенчика. С нетерпением свернули им шейки, развели костер и долго варили куличков в котелке, полном воды. А когда сняли котелок с огня и пошарили в нем ложками, неприятно удивились: куда делись кулички? Не осталось даже косточек: птенцы разварились без остатка. Все же выхлебали весь кипяток: в нем должно быть что-то питательное.

Лес кишел дичью. В зарослях, в речке, кричали утки — они плавали совсем близко, но палкой или камнем не подобьешь. Шныряли глухари, тетерки — если бы охотничье ружье! Тогда пищей мы были бы обеспечены. На песке у речки не раз видели свежие следы медведя — дальше шли озираясь, боясь опасной встречи...

Еды не было, пустые желудки ныли и силы убывали с каждым часом. Но надо идти и идти, пока не свалимся. Тогда будем ползти — ползти и жевать траву, мох, зеленые ягоды, но ползти, по берегу этой реки, она должна же нас куда-то привести! Не может не привести!

Мы вырубили палки и шли, опираясь на них, помогая ногам руками. Только бы идти, только бы ближе к цели.

А вокруг — буйное неистовство. Цвели травы, разливая пьяный запах, кусты вставали пестрой стеной, отчаянно и радостно, не в силах справиться со своим чувством, пели и кричали птицы, жужжали и звенели шмели, осы, пчелы — залитое неуемным солнечным зноем, казалось, все это сплеталось, подчеркивая нашу невключенность в себя, нашу чужесть хмельному разгулу жизненной силы. Как будто мы, кое-как ковыляющие в этом разгуле, уже обречены. И душа мутилась: разве мы — уже мертвые?..

На четвертый день после гор, в полдень, легли на берегу отдохнуть. Ноги больше не слушались, в голове шумело. Солнце било в глаза, но казалось черным; оно расплывалось оранжевыми кругами. Я с трудом поднял ноги на полузасыпанный песком ствол упавшего дерева и забылся или задремал.

Сколько я пролежал, не знаю. Как будто долго, а по времени не могло быть больше часа, от силы двух часов. Я даже не очнулся, а только приподнял веки, — в мозгу отметилось: в двух-трех шагах, у самого берега, спокойно плывет утка, за ней — выводок утят. А на бревне, рядом с моими ногами, на тонких ножках насмешливо покачивается кулик.

Утка ли с утятами, — опять так близко пища! — или кулик, заставили меня очнуться. Скорее кулик — я не ужаснулся, но что-то отдалось во мне: кулик, наверно, считает меня мертвым, как и дерево, на котором он стоит.

Если бы я мог думать, вероятно, я подумал бы так: может быть, я действительно умер и меня больше нет? Потому что я не ощущал себя: вместо меня лежала какая-то тупая неподъемная тяжесть, ничего, кроме этой тяжести, не способная ощущать. Как будто жизнь уже ушла из меня.

И не думая, потому что сознание не работало и думать я не мог, не я, а эта тяжесть поняла, что она должна начать шевелиться, двигаться, для того, чтобы продолжать быть. Невероятным усилием я сдвинул омертвевшие ноги с дерева, перевалился на живот — рядом неподвижно лежал Хвощинский. Я навалился на него, расталкивал и что-то мычал. Он тоже очнулся и зашевелился. Я пополз, потом поднялся на колени, пополз на четвереньках — тело медленно, как после наркоза, приходило в себя. Тяжело ворочаясь, возвращалось и сознание, хотя перед глазами все заволочено какой-то мутью. С трудом поднялся на ноги и заковылял — за мной ковылял Хвощинский.

После этого не прошло и часа, как снова воспрянули духом: мы наткнулись на свежую порубку. Это не мираж: над самой водой, на пригорке, остался толстый пень, кругом куча щепок. Дерево срубили топором, этой весной. Его очистили от коры; вот и след, как его тащили в воду. Мы чуть не задохнулись от радости: за две недели первый след человека! Жилье тут, совсем рядом: в тайге незачем рубить деревья далеко.

Мы забыли о пустых желудках, у нас прибыло сил. Пошли быстрее и снова увидели порубку, еще и еще: тут с выбором срубили десятка два деревьев и сплавили по реке. А вот и стожок прошлогоднего сена! Больше нечего сомневаться: травы тут под боком сколько хочешь. Тут, под боком, и село.

Заковыляли изо всех сил: за следующим мысом, за следующим поворотом речки покажутся избы. Но их не было. По-прежнему глухой лес, заросли кустарника. Берега все больше заболочены, спускаются низинами почти вровень с водой, приходится идти чуть не в брод, а села нет и нет. Куда оно запропастилось? Мы видели порубки, стожок сена — почему же нас все еще окружает тайга и опять нет и признака человека?

Скрылось за горами солнце, от земли поднялась дымка вечера, а села нет. Мы шли из последних сил. Неужели не доберемся, неужели свалимся где-нибудь в километре от жилья?

Мы ковыляли, не разговаривая, тревожно вглядываясь в густеющие сумерки. Надежда сменялась отчаянием.

Вдруг Хвощинский схватил меня за руку и испуганно пробормотал:

— Там, над лесом... видишь?

Слева, недалеко от берега, над невысокой щеткой темного леса, поднималась узкая струйка дыма. Она будто растворялась в неподвижном воздухе, но на зеленоватом фоне меркнущего неба виднелась отчетливо. У кого-то в лесу костер.

Задирая головы кверху и боясь потерять из вида дымок, мы бросились в лес. Наткнулись на озеро, — вернулись, цепляясь глазами за узкую стрелку. Поровнялись с ней, снова вошли ь лес. Примятая трава тянулась тропинкой — пошли по ней.

Опять озеро. Глаза мигом схватили: на глади вечерней воды — черные ожерелья поплавков. Ближе, у куста, к берегу приткнута лодченка, около нее копошится человек, в стороне поблескивает огонек тусклого костра.

Рыбак переполошился, увидев нас. У него тряслись руки, и весь он дрожал и стрелял в сторону глазами, словно примеряясь, куда лучше удрать. Не злые ли мы духи, лесные привидения?

Это был молодой паренек, лет шестнадцати, низкорослый, с круглым широкоскулым лицом. И он не понимал нас: он не говорил по-русски.

Знаками объяснили, что хотим есть. Парень засуетился пуще. Побежал к костру, подбросил сучьев, повесил на рогатину котелок, кинулся к берегу, вытащил из воды мешок-сет-

ку с рыбешкой, быстро очистил ее и побросал в котелок. Можно было только дивиться, как скоро и ловко проделал он это, будто радуясь и с великой готовностью. Не хотел ли он задобрить неожиданно свалившихся на его голову неизвестных духов?

Пока варилась уха, парнишка дал нам небольшую краюшку хлеба — мы уничтожили ее в одно мгновенье. Поспела уха; парень выложил рыбу на дощечку и смущенно показал, что нет соли — мы принялись за жирную уху и разварившихся лещей, как звери.

Покончив с едой, тоже знаками спросили: далеко до дома? Недалеко. Может он нас туда провести? Парень опять обрадовался: значит, мы не просто голодные лесные духи, если хотим к людям. А там выяснится. И с него меньше спросится.

Он побежал к лодченке, вытащил ее и поволок в лес, через перешеек, по которому мы пришли. Хотели ему помочь, но парнишка легко управился сам.

Спустив лодченку на воду, он сел на корму и жестом показал, чтобы мы садились тоже. Выдолбленная из ствола дерева, лодченка утонула до бортов. Такие долбленки назывались у нас душегубками: одно неловкое движение — лодченка перевертывается. Парень ловко заработал веслом и мы помчались по зеркальной воде.

Если бы Хвощинский не увидел дымок над лесом, может быть, мы никогда не добрались бы до жилья. Река разливалась все шире, превращаясь почти в озеро; она растекалась протоками, разделенными топкими островками. Куда ни глянешь — одна вода, болота; казалось, и земля между ними жидкая. Только кое-где на островках кустарники, рощицы — немудрено, что за строевым лесом отсюда надо ехать километров за пятнадцать. Наверно, столько же и за хорошим сеном. С неприятным чувством я подумал, что пешком тут мы до людей не добрались бы. Какое счастье, что наткнулись на этого паренька!

Проехали не меньше полчаса, прежде чем увидели жилье. На берегу повыше, на уныло-ровном горизонте, черными конусами встали пять-шесть юрт.

В поселке давно спали. Парнишка привел нас в свою юрту, к отцу. В юрте всполошились, вздули огонек в камельке по-

середине, — в его свете я разглядел по сторонам, в глубине, с десяток больших и малых лиц, сверкавших любопытными глазами. Они не решались придвинуться: с нами у камелька сидел глава семьи, тоже низкорослый, широкоскулый, безбровый и безбородый человек. Сначала и он всполошился, но скоро успокоился и степенно и дружелюбно разговаривал с нами. Ему и не полагалось суетиться: это был «уполномоченный», он представлял тут власть.

Хозяин немного говорил по-русски. Объяснили ему, по легенде, кто мы, спросили, далеко ли до села, отмеченного на карте. До села еще двенадцать километров, хозяин завтра сам отвезет нас туда.

Хозяйка приготовила еду. Она поставила перед нами, на низкой скамеечке-столике, рыбу, простоквашу, чай, шаньги, гору лепешек — мы с жадностью принялись есть. И хотя предупреждали друг друга, что много есть сразу нельзя, наелись до отвала.

Тут же около камелька нам постелили мягкие оленьи шкуры. В первый раз за две недели мы легли спать в человеческом жилье. И спали спокойно: первая цель достигнута.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

Разбудили нас не рано, часов в десять. И хотя мы могли бы проспать сутки, встали свежими и бодрыми. Плотно позавтракав, с хозяином, его сыном и еще двумя туземцами, в поместительной лодке отправились в село. Рядом плыло еще пять-шесть лодок: поселок ничего не хотел пропустить из небывалого происшествия, какое представляло для туземцев наше появление. Будет о чем поговорить! Они смотрели на нас и не могли наглядеться. Галдящим табором мы плыли по реке.

Опять вода, вода вода. Откуда ее столько берется? Широкие протоки, озера, петляем в них — где главное русло, не понять. А это продолжается все тот же ручеек, рождение которого мы видели в горах. Считается, что дальше, у села, он впадает в другую реку; по-моему, вернее было бы говорить, что просто вся эта вода где-то сливается в одно и что куда впадает, не разберешь.

Как и вчера ночью, уходят назад и возникают вновь заболоченные низины. Кое-где кустарники, перелески; только у горизонта они тянутся будто сплошным лесом, но это обман. Там такие же озера, болота и только расстояние превращает эти худосочные островки леса в темную напрерывную полосу, будто бы лежащую на сухой земле.

Часа через два неожиданно все же попадаем в довольно широкую реку. Левый берег остается заболоченной низиной, правый приподнялся невысоким зеленым бугром: это несомненно твердь. На ней вскоре открылось село, то самое, которое без конца мы рассматривали на карте: десятка два беспорядочно разбросанных деревянных домиков, большой амбар ближе к берегу, у воды подобие пристанских мостков, десятки

лодок. В окнах домов блестит солнце. На берегу толпа: нас нетерпеливо ждут. Откуда узнали? Значит, пока мы спали, хозяин послал гонца. Хотя это в порядке вещей, — в таких глухих местах приказано тщательно следить за каждым новым человеком, — для нас все равно неутешительно. Если ждут, тем с большей настороженностью отнесутся.

Мы старались изображать на лицах радость и независимость. А на сердце скребло: как-то примут? Первая встреча с властью — чем она кончится? Но была и вера, что кончится благополучно: я теперь чуть не верил сам, что мы — коллекторы из экспедиции профессора Светлова.

Лодка ткнулась в берег, мы вышли, нас тотчас же окружили. Ближе других подошел высокий худощавый человек, в накинутом на полосатую косоворотку черном пиджаке. У него неприятное подловатое лицо, острое, с бегающими глазами. За ним — крепкий коренастый туземец, тоже в городской одежде, — этот смотрит открыто и дружелюбно.

Угадывая в подошедших начальство, мы поздоровались, восклицая:

— Наконец-то добрались! Месяц не видели человеческого лица! Где сельсовет? Кто председатель?

Отзываясь на наше возбуждение, высокий смягчился, улыбнулся и отрекомендовался:

— Секретарь.

Что за секретарь, мы не стали спрашивать. Коренастый туземец оказался уполномоченным сельсовета — настоящим, выше рангом, чем тот, который нас привез. Сельсовета тут не было, — мы изобразили удивление, хотя знали, что так и должно быть.

— Как так? А мы думали... С кем же разговаривать? Нам дальше надо ехать...

— А пойдемте, поговорим, — предложил секретарь. Сквозь любопытно разглядывающую толпу пошли с секретарем и уполномоченным.

В большой избе одна комната отведена под школу и подобие клуба, — на стенах плакаты, портреты вождей, с одной стороны подмостки-сцена. Рядом — дверь в комнатку уполномоченного и секретаря. В ней и произошел наш первый серьез-

ный разговор с местной властью, сильно смахивавший на допрос. Секретарь, видимо, по натуре своей не склонен был верить людям. Но он не был уверен и в себе и это ясно отражалось у него на лице: оно было то настороженным и даже враждебным, то растерянным и недоумевающим, а то просто человеческим. Уполномоченный, говоривший по-русски с сильным акцентом, наоборот, отнесся с полным доверием и сочувствием.

Мы парировали недоверие секретаря изображением великого нетерпения: нам надо как можно скорее ехать дальше, мы выполнили важное государственное задание! Надо сейчас же послать донесение в Геолком. Где ближайшая почта, телеграф? Натиск был энергичным и искренним: секретарь, явно не доверявший нашим «документам», смягчился и почти со смущением сказал, что телеграфа у них нет и он не знает, как нам поскорее выбраться отсюда.

С красочными подробностями рассказали нашу легенду — она вызвала интерес. Выяснилось: до ближайшего сельсовета — километров двести пятьдесят, при сельсовете есть и единственный в этих местах милиционер. До районного городка на большой судоходной реке — около пятисот километров и только там есть почта, телеграф и радиостанция. Мы изобразили такое отчаяние, что ему нельзя было не поверить. Что нам делать?!

Два раза в начале лета, в высокую воду, сюда приходит пароход с баржами, привозит продукты, охотничьи и рыболовные припасы на год и забирает отсюда и из других поселков по реке пушнину, оленьи шкуры, масло, рыбу. Пароход уже в пути, его ждут через четыре-пять дней. С ним мы можем поехать в районный центр, а там уже есть регулярное пассажирское движение. Можно поехать на лодке, но выйдет дольше и пароход все равно обгонит нас. Лучше подождать парохода. С остановками, он идет семь-восемь дней — не больше, чем через две недели, мы будем в районном городе.

Наше отчаяние дошло до предела: две недели! А у нас важное задание! В душе радовались: надо отдохнуть, привести себя в порядок. Впереди еще не мало трудностей. С унылым видом согласились: что ж, придется ждать.

Пока разговаривали, секретарь рассказал о себе. Он — член партии, считает себя секретарем местной ячейки, хотя он тут

единственный партиец. Бывший путиловский рабочий, слесарь; году в 1912 его сослали в эти края, за пропаганду на заводе. Здесь он женился, оброс семьей — и застрял навсегда. Говорил он об этом с ноткой ожесточения, — я подумал, что это должно быть озлобленный и неважный человечишка, потому и активист. Его, городского жителя, тянет отсюда, но у него нет воли, чтобы выбраться «на большую землю». Что он там? Здесь он — первый человек на сотни верст.

Узнав, что мы из Ленинграда, — на самом деле мы не бывали там, — секретарь оживился, начал расспрашивать. Мы отделывались восклицаниями: «О, вы бы не узнали! Куда там! Новый город!» Хвощинский едва не испортил музыку. Секретарь спросил: как Невский? Хвощинский поспешил: «Проспект Ленина? Не узнаете!» Я чуть не подпрыгнул: кто же не знает, что Невский давно — «Проспект 25 октября»? Секретарь мгновенно насторожился:

— Ленина? А не 25 октября? — Я двинул Хвощинского под столом ногой — он нашелся:

— Да, да, а недавно переименовали: проспект Ленина! Как же, такое имя! А вы и не знали?

Секретарь не знал, верить или нет. Кажется, поверил.

Нам определили место для жилья. А как с питанием? Где брать продукты? Уполномоченный добродушно спросил:

— Вы какие карточки получали?

— Карточки? — удивились мы. — У нас не было карточек. В экспедиции полагается полярный паек. А это знаете, что за штука? В него даже шоколад входит, — вдохновенно врали мы, чтобы произвести впечатление и чтобы нас не обижали с продуктами: после трудного похода надо подкрепиться.

Уполномоченный даже извинился: у них малый выбор. И написал записку в кооперативный амбар: отпускать нам сливочное масло, белую муку, гречневую крупу, сахар. Оленина, рыба, молоко найдутся у хозяев.

Поместились в просторном светлом доме, в большой чистой горнице, обставленной полугородской мебелью: венские стулья — и простой стол под грубой скатертью; диванчик на тонких ножках — и широкая скамья вдоль стены, застеленная оленьими шкурами. На оструганных стенах — древние фотографии,

на старом комоде — желтые от времени безделушки из раковин. На скамье нам соорудили постели из оленьих шкур.

Хозяин, небольшого роста жилистый старик, принял радушно. Неразговорчивый, он больше отмалчивался, посасывая трубочку и смотрел так, как будто подбадривал. Разговорчивой, певуче, по-северному, оказалась хозяйка: большая, дебелая, расплывающаяся, с таким добрым лицом, что, кажется, она каждого могла утопить в своем добродушии. Отнеслась она к нам, как к родным, и закармливала молоком, шаньгами, рыбой, олениной.

Дочь хозяев вышла замуж, сын был в армии — случай позаботиться о нас внес желанное разнообразие в жизнь хозяев. Нам тоже хорошо: мы предались спокойному отдыху...

В селе всего дворов двадцать и только один русский — секретарь. Несколько хозяйств туземцев-оленеводов; остальные, как наши хозяева, говорили хорошо и по-русски, и по-своему и по-туземному, но были не из местного народа. Энергичные, предприимчивые их предки, несколько семейств, еще в прошлом веке пришли сюда из-за гор и основались тут. Жили они главным образом за счет туземцев, оленеводов и охотников. Каждая семья имела несколько семейств туземцев, которые круглый год кочевали в тайге и только два-три раза в году приходили сюда. И обязательно к «своим», к знакомым: туземцы были наредкость привязчивы, постоянны и честны. Они приходили, как друзья к друзьям, привозили пушнину, оленьи шкуры, жили неделю-другую — поселяне принимали их тоже, как друзей, радушно угощали и в обмен на доставленное давали приготовленные заранее продукты, охотничьи припасы, белье, платье, разную хозяйственную и другую мелочь. Прежде все это привозилось сюда за пятьсот километров на лодках, потом лодки сменил пароход.

Расчет велся «по-свойски»: сколько бы туземец ни привез, ему не надо было больше того, что требовалось для кочевого существования, лишний груз его даже обременял. И редко бывало, чтобы хозяин оставался должен туземцу. Чаще получалось наоборот, но хозяин не напоминал о долге своему другу: не было случая, чтобы туземец не уплатил. Случался плохой год — хозяин не колеблясь давал туземцу все необходимое, туземец же не стеснялся одолжаться, в счет будущих благ.

Эти «долги» тянулись из года в год и, видимо, не тяготили ни одну, ни другую сторону. И хотя материальная основа дружбы была очевидна, она не мешала человечным отношениям. Хозяева тоже привыкали к туземцам и считали их почти членами своих семейств. Туземцу же, месяцами кочевавшему в тундре, сознание, что где-то у него есть верный оседлый друг, давало большое удовлетворение. И каждый приезд в село, в которое, как на ярмарку, собирались десятки оленеводов со всей громадной округи, был веселым праздником. Дело было, очевидно, совсем не в материи: о ней мало думали, вероятно, зная, что она будет при всех условиях, — дело шло о духовной потребности общаться с людьми. И у хозяев в селе потребности, по всей видимости, были не велики: в селе не появилось плакатных богатеев, притесняющих будто бы несчастных туземцев. Хозяевам, наверно, удовлетворение доставляло ощущение, что они нужны туземцам, этому богатому, но почти пустому краю.

Село жило в довольстве до последнего времени. Сельчане ловили еще рыбу, охотились, у каждой семьи было по три-четыре коровы, кое-кто имел своих оленей.

Перед нашим приходом вольная жизнь кончилась: пришел приказ собраться в колхоз. Что это за штука и зачем, сельчане и тут не понимали, как и всюду. Коров пока оставили по дворам: некуда собирать. Приказали сдавать молоко, но его негде было перерабатывать и некуда отправлять. Однако, приказ надо выполнять: молоко стали сливать в бочки из-под рыбы. Молоко портилось, но как ослушаться? Уполномоченный послал гонца в сельсовет — через неделю гонец вернулся и привез новый приказ: вместо молока пусть сдают масло. Этим пока и ограничились и считалось, что в селе есть колхоз, хотя его и не было. Но он был на бумаге, а это тоже сила.

Оленеводов раскулачили, как самых крупных собственников. Оленей отобрали, но что с ними делать? Часть оленей разбрелась, — с остальными, собранными в одно стадо, по-очереди кочевали те же оленеводы: ссылать их отсюда было некуда.

Туземцам тоже предложили собрать оленей в общие стада. Это было совсем непонятно туземцам: зачем? Они всю жизнь кочевали по-одиночке, каждый со своей семьей. Если согнать

оленей в большие стада, с ними из десяти семей надо будет кочевать двум-трем. Что делать остальным семи семьям? Туземцы почувствовали себя, как не у дел: у них отобрали занятие, их жизнь, и что теперь делать с собой, неизвестно.

Километрах в ста ниже по реке устроили факторию Госторга: отныне туземцы должны сдавать пушнину туда и там же получать продукты и припасы. Но фактория — не друг в селе; в ней все официально, надо считать на рубли, вести какие-то записи, — а туземец все свои хозяйственные счеты вел с помощью зарубок на палке. В них он отлично разбирался. В долг в фактории не дают. И с появлением фактории исчез тот праздник встречи с друзьями, который два-три раза в году давал столько радости. Жизнь словно потеряла какой-то сокровенный смысл и где его теперь искать, было непонятно.

Мы появились в селе, когда оно еще было в растерянности. Привычный уклад разрушался, о новом составить представление невозможно — и люди жили словно только по инерции...

В беседах с хозяевами и соседями мы остерегались слишком распространяться. У нас свое дело и ему нельзя мешать. Мы пока отъедались и отсыпались, вели блаженную праздную жизнь. Спадала опухоль с искусанных лиц, руки тоже стали приобретать нормальный вид, мы окрепли снова — это уже отлично.

А пароход где-то запропастился. Прошло четыре дня, пять, неделя — парохода не было. И никто не мог сказать, когда он придет: должен быть, а когда, кто же знает?

Надо думать о дальнейшем. Гуляя по берегу, мы снова строим планы. Но ни на чем не можем остановиться.

Можно продолжать путешествие самым простым способом: уйти ночью и двигаться на юг. На дорогу можно даже захватить немного продуктов, у хозяина взять, а на худой конец украсть, удочку, сетку: рыбы тут уйма, уже поспели ягоды, еда будет. Но до первой железнодорожной станции — километров шестьсот, если не больше. Как одолеть их, плутая в озерах и болотах? На это нужен не один месяц, а уже конец июля. В сентябре начинаются морозы.

О том, чтобы уехать ночью на лодке, нечего и думать: тогда неминуема погоня. Пока мы будем путаться в протоках, туземцы быстренько догонят нас.

Можно настоять, чтобы дали лодку: мы не можем больше ждать. Но тогда мы будем связаны туземцами-гребцами. И все равно догонит пароход и нам предложат перейти на него. И не будет причины отказаться.

Остается одно: ехать на пароходе. Река течет прямо на юг, потом на восток и в нижнем течении круто поворачивает к северо-востоку, к большой судоходной реке. У последнего изгиба, если судить по карте, начинаются сухие места — сойти там с парохода и идти пешком на юг. До железной дороги тоже километров пятьсот, но если сухо, их можно пройти за месяц.

А можно набраться нахальства и ехать до самого районного городка. Явиться к начальству, просить содействия — сразу не посадят. Нам нужно всего дня два: оглядеться, сесть на пароход — через несколько дней мы будем далеко на юге, в центре промышленной области, где не трудно затеряться. Если даже не удастся целиком и мы проедем только полпути — тоже большая удача.

Я склонялся к этому варианту: я верил в нашу легенду.

НЕОЖИДАННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Каждый день видим уполномоченного, секретаря, справляемся у них о пароходе. Уполномоченный попрежнему приветлив, а секретарь меняется, как хамелеон: то любезен и чуть не приятель нам, то сверлит нас глазами. До конца он нам не верит, по обязанности или по привычке.

Однажды, придя с прогулки, заметили: в наших вещах кто-то шарил. Хозяева ходили смущенные и избегали смотреть в глаза. Вероятно, секретарь в наше отсутствие произвел обыск. Ничего не было взято и мы сделали вид, что ничего не заметили. Но странное дело: после этого секретарь был с нами совсем хорош, он даже заискивал. Не подействовали ли на него собранные в горах камешки?

Но он снова изменился и опять смотрел почти враждебно. Веры у него к нам не было. А на десятый день ожидания парохода утром увидели в окно: мимо дома суматошно пробежали пять-шесть комсомольцев, с ружьями — гвардия секретаря. С ней он тут верховодил, с ней стряпал колхоз. Что случилось? Вышли — на крыльце сидел хозяин, тоже с охотничьим ружьем. Смущенно покашливая, старик сказал, что в окрестностях села видели незнакомых людей и пошли ловить, а нам лучше посидеть дома, будет спокойнее. Так распорядился секретарь.

Это было скверное предупреждение: мы были вроде как под домашним арестом. Опять сделали вид, что не принимаем всерьез, — что можно было выдумать другое?

Секретарь с комсомольцами вернулся только к вечеру. Село в возбуждении, хозяин тоже пошел к клубу. Возвратясь, он рассказал: поймали трех неизвестных, заперли их в клеть, поставили комсомольцев караулить. Пойманные одеты в ши-

нельного сукна бушлаты, серые шапки-ушанки. Сомнений не было: такие же концлагерники, как и мы.

Ночь мы не спали: кто такие, откуда? Вдруг это Реда, Калистов? Ближайший отсюда лагерь — наш, беглецы могли быть только оттуда. А в нем собирались бежать не мы одни.

Утром встретили секретаря — он смотрел настороженно, но не хуже, чем всегда. Спросили, кого поймали, — уклончиво ответил: беглецов-преступников.

Секретарь мог предполагать, что мы связаны с этими беглецами и пришли раньше, в разведку. Поэтому он принял меры, обезопасил нас, чтобы мы не натворили чего-нибудь, вместе с беглецами. Он ведь не знал, сколько в лесу людей. Но объяснение объяснением, а все это никуда не годится. Не кончится ли тем, что секретарь отправит нас на пароходе под конвоем? Это было бы из рук вон. Одно дело, мы приедем сами, и другое — нас привезут «под свечкой».

Странно, почему перед появлением беглецов секретарь опять почти враждебно относился к нам? Что за причина? Не в Хвощинском ли дело?

Я ходил расстроенный и злой. Хвощинскому, после недели нашего безоблачного житья, стало скучно. Он свел знакомство с бывшими оленеводами и вечерами пропадал у них. Приходил пьяный. А тут алкоголь запрещен, значит, оленеводы гнали самогон, за что строго преследовали. Знакомство было слишком неподходящим.

Но я и не предполагал, как далеко зашел Хвощинский. Выяснилось только перед приходом парохода. Хвощинский вернулся поздно вечером и развязно попросил у меня денег.

Я вытаращил глаза: зачем ему деньги? И они у него есть: я же разделил деньги поровну, еще в тайге. Что за чепуха?

Ничуть не смущаясь, Хвощинский сказал, что у него — «маленькая осечка»: он проиграл свои деньги. И еще остался должен рублей двадцать. Но это пустяк, ему нужно рублей тридцать: он отдаст долг и отыграется.

У меня волосы встали дыбом. Хороши научные работники, выполняющие важное задание! Пьют с раскулаченными, играют с ними в карты, да еще влезают в долги! Я ожесточенно напал на Хвощинского: понимает он, что делает? Но он не видел ничего опасного. Да и это — «в последний раз» и все равно, мы скоро уедем. Как я ни ругался, а деньги дал: надо спасать наш престиж.

Через час Хвощинский пришел и опять попросил денег. Он снова проиграл, но теперь-то он отыграется! Ему не шла карта — это перед везением, теперь пойдет. Он-то знает! Нужно всего с полсотни. . .

Что делать? Денег у нас в обрез. Надо будет купить билеты на пароход; нужны деньги и на расходы в районном городке и на билеты дальше. Чем меньше мы будем просить о содействии, тем лучше; просьбы о деньгах особенно неприятны тем, к кому они обращены. Мы теряем независимость. Но и не отдавать нельзя: вдруг завтра оленеводы пожалуются секретарю?

Ругаясь, я оделся и пошел с Хвощинским. В избе на берегу, в просторной комнате, освещенной керосиновой лампой на столе, накурено до того, что перехватывает дыхание; разит самогоном. За столом — человек восемь, с распаренными лицами. Кучи бумажек: игра крупная. Наши капиталы тут — ничего не стоящая мелочь.

Хвощинский протиснулся между двумя игроками, сел на табурет, попросил карту. Ему не дали: пусть предъявит деньги. Дошло до того, что ему не верили! Я готов был выскочить из избы.

Дал ему десятку. И тут я впервые увидел своего спутника во всей красе.

Хвощинский мгновенно преобразился. На лице у него заиграла ухарская вызывающая улыбка. Свернув червонец так, чтобы видно было только единицу, он притворился, что у него десять червонцев, сто рублей — и стал играть на сто рублей.

Ничего не скажешь, он был артистом карточного дела. Часа два он ухитрился играть на «сто рублей». И в это время жил. Возбужденный, он волновался, что-то выкрикивал, глаза у него сверкали, руки дрожали, — я подумал, что, наверно, вне карточной игры он только прозябает, у него вся жизнь в игре. Это был игрок.

И поэтому ему не хватало ни спокойствия, ни выдержки. Конечно, десятку он тоже проиграл, отыграв из прежнего проигрыша какую-то мелочь. И когда, наконец, мне удалось оторвать его от игры, уплата проигрыша произвела в наших финансах сокрушительную брешь: у меня осталось около ста рублей, у Хвощинского ни копейки.

По дороге домой я ругался, на чем свет стоит. А на лице Хвощинского блуждала счастливая и растерянная улыбка. Он

не слушал: он пережил несколько часов настоящей радости и ему было не до меня. Трудно было не умолкнуть при виде такого счастья: я перестал ругаться.

Хуже было другое. В пылу азарта Хвощинский за игрой выкрикивал то, что совсем не надо было знать чужим. При мне он кричал: «Когда я был командиром полка, я такую карту бил!» Но по нашей легенде он никогда не был командиром полка! Что он выкрикивал без меня? И не дойдет ли это до секретаря? Да и наверно уже дошло: почему вдруг изменился секретарь?

Появление беглецов, игра и пьянство Хвощинского — на нашем пока чистом горизонте появились тучи. Не грянет ли из них гром?

Пароход, с двумя баржами, притащился на тринадцатый день. Сутки, не спеша, выгружали и грузили баржи. На следующий день после обеда простились с хозяевами. Они провожали нас, как своих: мы очень сжились с этими радушными людьми.

Взваливаем рукзаки, идем на пароход. Поднимаемся по сходням — и все еще ждем: не арестуют ли?

Арестовывать нас секретарю нет надобности: он тоже едет в город. Подозрительно, что раньше об этом он даже не заикался. На баржах с десяток комсомольцев, с ружьями: охрана трех беглецов. Их поместили в носовой части одной из барж, у люка дежурит комсомолец. Эта охрана, может быть, следит и за нами...

СНОВА В ПУТИ

Опять растекаются заболоченные низины, не похожие на берега. Заросли камыша, редкого кустарника почти сразу за бортом парохода; блестят впереди, справа и слева голубые воды озер, протоков, зелень лугов, — на лугах тоже взблескивают глаза луж. Уходят хилые островки — и ни человека, ни жилья. В камыше гомонят несчетные стада птиц, а плывем будто по мертвым местам.

Буксирный пароход, шлепая плицами, осторожно пробирается из одной воды в другую. Он никак не приспособлен для пассажиров: помещений для нас нет. Верхняя палуба открыта солнцу, ветру и дождю, на нижней мы мешаем матросам. Ночью холодновато. Устроились в закуте около трубы, на ящике с инструментами. Днем жарко, зато хорошо ночью.

Пассажиров мало: два туземца едут в районный центр, еще три пробираются в ближайшие поселки. Секретарь, встречаясь, смотрит нахально: попались? Сохраняя независимый вид, стараемся не попадаться ему на глаза, чтобы не доставлять лишней радости.

За нами на буксире тащатся баржи. Что за беглецы едут за нами? Скоро их стали выпускать из трюма, но не разрешали отходить от люка. Молодые ребята, рабочие или крестьяне. Что за люди? На одной из остановок пароход встал рядом с баржами, комсомольцы отошли от беглецов к борту, мы осторожно спросили, откуда? И сразу поняли: они из того пункта, куда послали Калистова. Недавно они прибыли с базы экспедиции и сразу же бежали. О нашем побеге они еще не могли слышать и не знали нас. Это к лучшему: ни они нас, ни мы их выдать не можем. Не можем мы и помочь друг другу. Так теперь и должно быть: каждый за себя.

Дня через три началась настоящая река. Правый берег поднялся бугром, на нем ломаной зубчатой стеной встала черная тайга. Слева осталась широкая зеленая пойма, только кое-где на ней, отражая голубое небо, белели зеркáла озер.

Чаще стали попадаться поселки, по два-три в день. Выглянут за изгибом конусы юрт, над ними лениво курится дымок, или встанут справа на бугре три-четыре избы, — пароход рвет тишину басовым гудком. На берег высыпают ребятишки, в развалку идут туземцы, пароход приткнет баржи к земле, — туземцы неторопливо тащат на баржи тюки пушнины, ящики вяленой рыбы, бочата масла. Или часами грузят до звона сухие сосновые поленья. Мы стоим — неподвижна река, неподвижен воздух, и если бы не лохмы дыма из трубы, можно бы думать, что все, что видим, только нарисовано. Кончилась погрузка, пароход опять зачем-то ревет, снова шлепанье плиц — и снова мертвое безлюдье, пустыня, глушь, полная солнца, зелени и голубени, скрывающих кипение жизни.

Оно тут, под нами, вокруг нас. Из чащи нечаянно высунется недоуменная морда медведя, утки без стеснения плещутся в камышах, в реке постоянный всплеск и блеск. Кое-где встречаем рыболовов: тянут на берег сети, до верха полные живым серебром. Щука тут не рыба: суха и тоща. Тут столько рыбы, самых нежнейших пород, что и впрямь наверно ее можно черпать сачком.

Кончились и редкие поселки. День, два, три плывем под угрюмым берегом, нависшим суровой тайгой. Может быть, кончилась граница одного племени, а другое еще не начиналось. Десятки, сотни километров, — а где-то люди давят друг друга из-за жалкого клочка земли.

Странно смотреть на это безлюдье, на сплетение буйства нечеловечьей жизни с мертвой тишиной. Это не кладбище, нет, тут не хоронили людей, но душу гнетет почти кладбищенской тоской.

А вот и кладбище. Откуда оно тут? Мы с недоумением всматриваемся, — на горе, на сдавленной тайгой поляне, возвышаются холмики, между ними кривые кресты, — откуда тут кресты? Внизу, на берегу, лежат кучей какие-то обгорелые коряги. Это что-то новое, чего мы еще не видели. Что за холмики, что за коряги?

Пароход гудит, подваливает к берегу, — это не коряги. Это люди. Но что это за люди? По коже проходит мороз. Они лежат безучастно, тревожно и резко очерченные на желтом песке. Что это за люди?!

Сбросили сходни, капитан крикнул матросам, два матроса сошли на берег, чтобы помочь лежащим взойти на пароход. Коряги зашевелились, поползли, — одни ползли сами, неуклюже двигая по земле черными руками и ногами, завернутыми в гнилые лохмотья, прильнув грудью к земле, уже не в силах оторваться от нее. Другие ковыляли на коленях, на четвереньках, боком и спиной вперед, кто как мог, если мог. Кто не мог, тех матросы вели под руки или несли на себе. И смертным ужасом веяло от черных лиц, изъеденных голодом и цынгой, от исковерканных рук и ног, от лохмотьев, — от них несло тленом, как от выкопанных из могил. Что это за люди, что с ними стряслось?

Восемнадцать обгорелых останков поместили на корме. Они лежали, с потухшими глазами, как мертвецы. Даже предложенный нами хлеб не расшевелил их.

Это были раскулаченные крестьяне, откуда-то из Западной Сибири. Прошлой осенью их привезли сюда на баржах, тысячу семейств, и выгрузили на берегу, среди тайги. У них не было ни продуктов, ни инструментов и снастей. Нашлось несколько топоров. Уже шли дожди, недолго оставалось до снега. Самодельными лопатами они начали рыть землянки. Сразу начали и умирать. Сначала дети, старики, потом взрослые.

Питались ягодами, грибами, ловили силками птицу, мелкое зверье, подобием удочек и сеток рыбу. Но не было ни хлеба, ни соли. Заготовить пищу на зиму не могли. И быстро обессилили. Умерших сначала хоронили на лесной опушке, потом тут же, между землянками, потом мертвые оставались в землянках. Некому было хоронить: каждый сам ждал смерти. Кое-кто ушел, еще до снега, но дошли ли ушедшие куда-нибудь или погибли в тайге, никто не знал. К весне из тысячи семей в живых остались вот эти восемнадцать человек. Капитану приказали вывезти их в район.

Как они прожили зиму, они не могли рассказать. Переползая от землянки к землянке, они искали все, что можно было съесть. Кожухи, ремни, сапоги, ботинки резали на кусочки, варили и ели. Наверно, ели они и трупы. Это не имело значе-

ния: они и сами были трупами, из них ушло все человеческое. Тут, на корме, лежали уже не люди. Это и в самом деле была только груда отработанного, пережженного человеческого сырья, из которого людей больше не получится.

Я приглядывался к матросам, к пассажирам, смотревшим на крестьян, к самому себе, — и ни у себя, ни у окружающих не видел ни гнева, ни нестерпимой боли. Глаза ни у кого не горели возмущением. Мы словно отупели. Ну, да, это всюду, по всей России, сколько уже видели и увидим еще. Все то же удавье дело. Только в груди вместо сердца был камень и тяжесть его давила вниз...

На остановках выходим на берег, взбираемся на кручи, гуляем по лесу. Комсомольцы посматривают с барж, иногда сходят вслед за нами, но явно нас не сторожат. Не трудно уйти в лес подальше, а там прибавить шагу, — уйти, пожалуй, можно, хотя риск большой. Мы переглядываемся: тьма тайги тянет, зазывает нас. Но стоит ли? И еще далеко. Спускаемся к пароходу, плывем опять.

Так плыть бы и плыть, по этой голубой ленте, чтобы не приплыть никуда. Чтобы ничего больше не было, кроме парохода, тайги, неторопливой реки, прозрачного неба, и этого ленивого шлепанья плиц, которое, похоже, оставляет пароход неподвижным. Оставаться в этой неподвижности, протянуть ее так, чтобы у нее не было конца. Но дни идут, уходят и берега, мы уже у последнего изгиба реки, еще день, полтора, — что будет за ними?

Пароход подваливает к берегу, на верху — редкий сосновый бор, над обрывом длинные поленницы дров. Отсюда до городка всего километров сто. Отсюда, как будто, начинаются и сухие места. Матросы цепочкой, — вниз, вверх, — грузят дрова, а мы взбираемся на обрыв, заходим за поленницы, дальше, к кустам, ложимся в траву и ждем. Придут ли комсомольцы? Мы еще не решили, стоит ли уходить с дороги, но может быть, решим сейчас. Из-за поленницы выходит комсомолец с винчестером, беспокойно шарит глазами вдали, ближе, по земле, находит нас, — мы беспечно курим, подставив лица вечернему солнцу. Комсомолец отворачивается, будто прогуливаясь уходит за поленницу, — по спине его чувствуем, как он напряжен. За поленницей он, конечно, притаился и смотрит

в щелку. Может быть, затеять игру, кто кого перехитрит? Уйти дальше вниз по реке, чтобы он не видел, и незаметно двигаться в лес. Он позовет других, вряд ли уйдешь. Да и нет у нас такой уж острой охоты уходить сейчас. Тянет и город, откуда уйти, наверно, легче. Пароход гудит, — что ж, поплыли к тому, что нас ждет...

На десятый день река раздвинулась, растеклась протоками, потом они слились — река шире Волги и по северному могучее и величественнее. Скоро не будет видно берега. Пароход с баржами в этом безбрежии — как таракан на натертом полу, жалко спешит куда-то в безопасное убежище. Под вечер вошли в проток поуже — и на низком берегу увидели город. Просторно разбросаны дома и домишки; пристани, барки и баржи, скорлупки лодок, пассажирский пароход-красавец, с длинным шлейфом белого дыма, закрывшим полгорода. Мы смотрели жадно: это — наше, привычное, крохотная точка среди одоленных и дальше, за городом, еще неодоленных пустынь, — от этой точки тянется нить и к нашей земле.

На берегу люди, много людей, — кажется, вечность не виданное нами оживление. А сердце сжимается: что-то будет? Хвощинский тоже волнуется и бодрится. Переглядываемся: надо приготовиться, подтянуться.

Подошел секретарь. Глаза беспокойно бегают, видимо, не знает, как ему быть.

— Вот и приехали, — как-то растерянно улыбается секретарь. — Что ж вы теперь? К кому пойдете? Вам бы сразу к начальству...

— Да, мы и собираемся к начальству. Только еще не знаем, к кому первому? К председателю райисполкома?

— Самое верное — к уполномоченному НКВД, — заторопился секретарь. — Он же все может, и с документами, и со связью. Если вам радиограмму послать — только к нему. Хотите, покажу, как идти? Мне все равно к нему беглецов вести...

Мы и сами знали, что без НКВД не обойдешься. Может быть, и лучше, сразу в воду?

Сквозь толпу любопытных сошли, поднялись на невысокий берег, — за нами комсомольцы повели беглецов. По широкой пустынной улице идем с секретарем сбоку, по деревянным тротуарам, комсомольцы с беглецами шагают по дороге.

Большой деревянный одноэтажный дом, крытый железом. Вошли во двор. Беглецы сели в середине, окруженные комсомольцами, а мы направились на высокое крыльцо. Секретарь опередил, попросив подождать: он доложит сначала о беглецах. Ничего не поделать, присели на ступеньках.

С беглецами покончили быстро: секретарь вышел и приказал комсомольцам вести их в тюрьму. А нас опять просил подождать.

Ждем пять минут, десять, пятнадцать. Что там наговаривает секретарь? Скверное настроение гложет нас. От этого человека добра не жди.

На крыльцо выходит — не секретарь, а пожилая женщина, с седыми волосами и добрым морщинистым лицом. Она смотрит на нас мягкими, ласковыми глазами, будто подбодряет, и тихим голосом просит заходить. Эта женщина — как доброе предзнаменование. И мы, тепло обрадованные в глубине души, спокойнее вошли в этот дом.

РЕШАЮЩИЙ ЭКЗАМЕН

В просторной комнате полусумрак: большие окна завешены, открыто только одно, у письменного стола. Несколько стульев, канцелярский шкаф, пейзаж доморощенного художника на стене. Пахнет, как пахло в купеческих домах (этот дом в прошлом наверно тоже купеческий), чем-то старым, но уютным. Не верится, чтобы в этой комнате допрашивали, составляли дела, по которым расстреливают людей.

Навстречу встал худощавый, выше среднего роста блондин с голубыми глазами; приветливо улыбаясь, он поздоровался с нами за руку, предложил сесть и сел сам за стол напротив. У него было лицо интеллигентного человека, и смотрел он внимательно, с сочувствием, без тени вражды и недоверия. Он был очень похож на впустившую нас женщину.

Он уже слышал о нас, ему говорили, говорил и секретарь, — секретарь ушел в другую дверь, даже не попрощавшись с нами, что нас не огорчило. Уполномоченный рад знакомству с нами, такие люди не часто появляются в здешних местах.

Мы пустились рассказывать о своем путешествии, строго по легенде. Уполномоченный заинтересовался, он был даже увлечен нашим рассказом и смотрел теперь еще с большим доброжелательством. Я отказывался верить, что на свете могут быть такие уполномоченные НКВД.

Мы рассказали и об аварии, которой не было, показали документы: все те же написанные мною в горах удостоверения и чужие профсоюзные билеты. Уполномоченный нерешительно вертел их в руках, очевидно не зная, что сказать. Смущенно он спросил, что же мы собираемся делать дальше? Видимо, ему хотелось сказать, что с такими документами далеко не уедешь, но он не решился.

Мы хотим сегодня же послать радиограмму в Ленинград, в Геолком, чтобы подтвердили нашу принадлежность к экспедиции профессора Светлова и выслали денег, — денег у нас тоже почти нет. Придет ответ, — тогда мы получим здесь какие-нибудь документы и поедем дальше.

Уполномоченный огорчился. Дело в том, что радиостанция загружена правительственными телеграммами и пользоваться ею для других нужд нельзя. Придется послать по телеграфу. Долго ли ждать? Уполномоченный прикинул: дней пять до Ленинграда, дней пять назад, ну, наверно три-четыре дня займет составление ответа. Недели через две мы получим ответ.

Мы и тут изобразили отчаяние. Две недели! Не может быть! У нас же важное правительственное задание! Будто в порыве возмущения, я вытащил из рукзака горсть собранных в горах камней, завернутых в бумажки, брякнул на стол, — смотрите, их надо срочно доставить в Геолком! А вы говорите, две недели!

Уполномоченный заинтересовался камешками. Он рассматривал их, читал мои надписи на бумажках. Вероятно, они окончательно убедили его. И он с еще бо́льшим смущением сказал, что, к сожалению, ничего не может сделать. Радиостанция на севере не одна, им дают только четверть часа, расписана каждая минута. А телеграммы передаются в областной город, за тысячу километров, по телефону, по единственной проволоке на все районы.

Мы радовались в душе. Чем дольше идут отсюда телеграммы, тем лучше. На нашу телеграмму ответа ведь не будет вообще. Поломавшись для вида, мы согласились на телеграф. И тут же составили текст телеграммы: «Ленинград, Геолком. Подтвердите наше нахождение экспедиции Светлова. Горах потерпели аварию, остались без денег, документов. Срочно вышлите деньги проезд Ленинград».

Уполномоченный сам показал, как пройти на почту. Оставив рукзаки, — пусть, если хочет, пока проверит содержимое, — мы пустились отправлять телеграмму. Отправили, показали уполномоченному квитанцию и спросили, где нам жить.

Это легко устроилось. Уполномоченный написал две записки. Одну — в «Дом туземца», чтобы приняли на постой, вторую — в райпотребсоюз, чтобы отпускали продукты и зачислили на питание в столовую.

«Дом туземца» оказался на соседней улице, — здесь все бы-

ло рядом. Тоже одноэтажный и просторный, по нашему это был попросту «дом крестьянина». Он был и единственной в городке «гостиницей».

Заведующий-туземец молча прочитал записку и молча провел в большую выбеленную комнату, пустую, с двумя койками и столиком между ними. Колченогая табуретка; чисто, на койках серые солдатские одеяла, соломенные матрацы и подушки, покрытые застиранными, но чистыми простынями. Мы помылись и завалились спать.

Утром первым делом отправились в столовую. О нашем появлении уже знали, на улице оглядывались и провожали нас любопытствующими взорами. В столовой тоже пялили глаза. Мы чувствовали себя не очень ловко. Позавтракали и пошли в райпотребсоюз, — он помещался в одном доме с райисполкомом.

Встретили дружески, у председателя райпотребсоюза собралось с десяток сотрудников, каждый готов был помочь и каждый хотел услышать, откуда мы и куда. Коротко рассказали свою легенду, — этим только распалили любопытство. В кабинет втискивались еще и еще люди и нас, может быть, не отпустили бы до обеда, если бы не пришел сам председатель райисполкома. Высокий, представительный, в полувоенном костюме, он шумно выпроводил публику из кабинета и заставил снова повторить нашу историю.

Слушая, он перебивал вопросами, восклицаниями — это был живой человек. Минутку подумав, он предложил:

— Товарищи, вот что: сделайте нам два доклада. Один — так сказать, внешняя сторона, ваше путешествие: это ж крайне интересно! Такие истории не часто бывают и мы докажем некоторым нашим товарищам, которые тут мрут от скуки, что у нас можно целые романы писать! Это же Майн Рид! А другой — об экспедиции: что вы разведываете, какие открываете богатства. Нас же это в первую голову касается! В свете развития народного хозяйства в нашем крае, наш вклад в пятилетку. Обязательно, товарищи, а то мы сидим и не знаем, что у нас под носом делается...

Стараясь не выдать, как мы опешены его предложением, мы молчали. Я соображал, как бы выкрутиться. Этого нам еще не доставало: делать доклады! Председатель нетерпеливо ждал.

Да, конечно, мы бы с удовольствием сделали доклад, но — мы ведь не имеем полномочий от своего начальства. А если

о нашей экспедиции нельзя много распространяться? Это же государственное задание, — я намекнул, что оно может иметь военное значение. Можно ли разглашать? Жаль, но мы взять на себя такую ответственность не можем.

Председатель досадливо крякнул, но согласился. В самом деле, а вдруг — государственная тайна? . .

Городок был древний, одноэтажный, пригнувшийся к земле должно быть от свирепых зимних ветров, всего дворов в полтораста. Только три-четыре дома кирпичные, остальные из неохватных сосен или добротно обшитые строгаными и крашеными досками, обряженные резьбой. Много трехоконных флигелей, затейливых и уютных, в которых угадывалась устоявшаяся и недавно обеспеченная жизнь. Теперь было беднее: резьба крошилась, краска сходила, ворота кое-где висели криво и распахнуто, давно не чиненные.

Два-три столетия назад сюда ссылали опальных бояр, потом петровских вельмож, а за ними и революционеров. Всего четверть века назад отсюда дерзко бежал один из бунтовщиков. Тогда было не трудно бежать.

На берегу — склады, на деревянных помостах и прямо на земле горы тюков, мешков, бочек и вязанок желтых сушек, кое-как прикрытых брезентом. Сушки у туземцев — лакомство. Их привозят с верховьев целыми баржами, — взамен сушек туземцы сдают пушнину. Эти горы товаров — для всего края, на тысячу километров на восток и на запад, и все это должно быть доставлено в самые глухие углы летом, на долгую зиму.

Флотилии лодок, завозней, барок и барж, буксирные пароходы, в одном месте — пять-шесть моторных лодок. Но большого оживления нет: десятка три рабочих неторопливо копошатся. Неторопливость — северный стиль.

Два-три раза в неделю приходят и уходят пассажирские пароходы. Вниз — к Ледовитому океану, вверх — туда, куда надо нам. Билеты продают только по справкам: здесь и сейчас ссылка. Надо попасть на пароход без билета. Присмотрелись — как будто можно.

Прожили два дня, присматриваясь и изучая. Ходили и по окрестностям. Кустарник, хилый лес, болота, на север и на юг убегает проволока телефона.

К вечеру второго дня Хвощинский предложил зайти к уполномоченному, поговорить, чтобы подчеркнуть, что мы не скры-

ваемся. Я возразил: а куда тут скроешься? И зачем лишний раз мозолить ему глаза? Но Хвощинский настаивал так энергично, что я согласился.

Уполномоченный встретил сдержанно. Что-то случилось. А когда он попросил зайти меня одного, я совсем заволновался.

Уполномоченный избегал смотреть в глаза. Ему самому было неприятно. Он спросил, хорошо ли я знаю Хвощинского? Что это за человек? И почему он так странно вел себя в селе? Играя в карты, — уполномоченный развернул на столе папку, — Хвощинский кричал: «Я этот ваш колхоз разгромлю! У нас власть не советская, а соловецкая!» Откуда у него эти концлагерные выражения?

Я похолодел. Наше предприятие рушится... Это же чепуха, несерьезно, — уверял я уполномоченного. — Он же в пьяном виде говорил, не соображая. А выражения — наша экспедиция одно время работала по соседству с концлагерем, у нас тоже работали заключенные, от них Хвощинский и набрался. А колхоз — он же карточный колхоз подразумевал, это только образ, — выкручивался я.

— Видите, как неосторожно, — горестно заметил уполномоченный. — А мне что теперь делать? Я ведь должен вас задержать...

Я вскинулся: нас задержать? Почему, зачем? Уполномоченный совсем огорчился. Он понимает и всецело нам верит, но ничего не может сделать. Поймите, к нему поступил материал, он должен принять меры. На него наседает райком. Видите, что они пишут? Уполномоченный ткнул в раскрытую папку, — в ней уже было несколько бумажек. Секретарь заварил целое дело, а за ним и секретарь райкома. Уполномоченный знает, что все это ерунда, придет ответ из Ленинграда и все устроится, но пока он должен нас задержать.

Опять мелькнула мысль, что за чудной этот уполномоченный, но что проку от этого? Нас запрут в тюрьму. Зачем я согласился на уговоры Хвощинского? Я чувствовал, что если бы мы не пришли к уполномоченному, мы наверно уцелели бы. Теперь мы попались.

Видя мое отчаяние, уполномоченный утешал. Ничего, это не страшно, он распорядится, чтобы нас выпускали из тюрьмы на завтрак, обед и ужин, мы будем только жить в тюрьме, он не начнет даже следствия. Зачем? Придет ответ на телеграмму и вы поедете дальше... Но я-то знал, что ответ не придет...

Мы сходили за рукзаками, потом уполномоченный сам отвел нас в тюрьму. Почти в центре города — щелястый забор-частокол из толстых плах, за ними квадратный дом. Высокие окна, по летнему без стекол, за частой решеткой. Коридор делит дом на равные половины, в каждой по две камеры. В одной полуразваленная плита. В камерах длинные широкие нары. Толстые двери с железными запорами.

Угнетенные, вошли мы в тюрьму. Милиционер-надзиратель закрыл за уполномоченным калитку и, широко оскаблясь, предложил располагаться, как нам нравится. Вошли в одну из камер, бросили рукзаки и молча повалились на нары. Не хотелось и говорить.

Из этой самой тюрьмы четверть века назад бежал тот революционер, который не мало сделал, чтобы теперь в ней были мы. Теперь бежать надо нам...

ВТОРОЙ ПОБЕГ

Утром, в обед и вечером уходим в столовую. Нас сразу перестали узнавать, от нас отворачиваются. А, плевать на это! В голове сверлит одна мысль: что делать?

Гуляем по городу, идем на берег, но неотступно преследует: надо возвращаться за ненавистный забор. Надолго отлучаться нельзя.

Дежурят посменно три надзирателя-милиционера. Федор — молодой, дурашливый туземец, с ним мы часами играем на солнышке во дворе, на куче старых сетей, в подкидного дурачка, хотя карты валятся из рук. Второй, русский, тоже не плохой человек, рукодельник: сидит и строгает из дерева неуклюжие фигурки, детям. Только третий неприятен, Кулаев, пришлый туземец, из другого племени. Большой, сильный, этот — ревностный служака, он-то и сказал, чтобы не уходили больше, чем на час.

Камеры и коридор открыты до позднего вечера и мы если не гуляем, то сидим во дворе. Но усидеть на месте трудно, нас сжигает одно: что делать дальше?

Нет никакой надежды. Мы хорошо знаем: лагерь уже давно послал донесение в Москву о нашем побеге. А НКВД давно объявил центральный розыск: разослал по всем областям подробное сообщение о нас. Прошло уже больше шести недель. Каждый день может придти приказ о нашем задержании, — тогда ничто не поможет. Дни идут, еще неделя, ответа из Ленинграда не будет, уполномоченный перестанет так доброжелательно относиться к нам. Не может же случиться чудо: в Геолкоме сойдут с ума и подтвердят, что мы те, за кого выдаем себя.

Выхода нет. Скоро нас разоблачат и отправят снова в лагерь, откуда мы бежали. А там неминуемый расстрел. Неужели все было напрасно? Эта мысль непереносима. Надо снова бежать, пока не поздно.

Не вернуться вечером в тюрьму, спрятаться на берегу, а ночью попытаться забраться на пароход? Не выйдет: спохватятся и найдут. Взять вечером лодку и уехать? Мы никуда не уедем: нас догонят на моторках. Все, что ни приходит в голову, приходится отбрасывать.

Хвощинский предлагает уходить пешком. После ужина уйдем за город — и в лес. Но всюду вода. За час мы не скроемся, нагонят. Да если даже скроемся, мы не выберемся отсюда: середина августа, за месяц мы не пройдем и четверти пути. В сентябре начинаются холода, а там застанет снег — верная гибель в тайге.

Во дворе тюрьмы — крепкая клеть из дубовых брусьев. Толстая дверь окована железом, висит большой замок. Раза два, когда Федя открывал клеть при нас, мы заглянули в нее. Впереди — какое-то грязное барахло, дальше в глубине — в станке с десяток винтовок, ящики с патронами, что-то еще, прикрытое брезентом. Наверно, это склад запасного оружия, охраняемый нашими же надзирателями.

Увидев винтовки, я подумал, что больше ничего не остается, как идти напролом. Или пан, или пропал.

Я сходил еще раз к уполномоченному. Он чуть не умолял меня найти хоть какой-нибудь документ, пусть завалящую багажную квитанцию, на которой было бы наше имя, и он отпустит нас. Где взять эту багажную квитанцию? Сделать ее тоже не из чего. Нет, надо торопиться.

Выработали план. В полночь мы выходим будто бы в уборную. Обезоруживаем надзирателя, связываем и запираем в одну из камер. Открываем клеть во дворе, вооружаемся винтовками, берем запас патронов и идем на берег. Ночью на берегу дежурит один древний старик с берданкой. Берем его с собой. Заводим самую быстроходную моторку, — о моторках мы уже все разузнали у Феди, — приводим в негодность другие моторки, захватываем продуктов и отчаливаем от этих мест. Отъедем с десяток километров, перережем проволоку

телефона, — пока спохватятся и починят телефон или свяжутся по радио, мы промахнем сотни две километров. Да и вооруженных не будут рьяно ловить. А там можно выйти на берег и идти пешком: будет уже не так далеко.

План отчаянный, но другого нет. Мы тщательно обдумываем его, стараемся предусмотреть любую неожиданность, — должно выйти. Хвощинский говорит: если что помешает, тогда пойдем не на берег, а прямо в лес. Настойчиво прошу забыть о лесе: должно выйти, надо положить все силы, ибо только тут спасенье. Хвощинский тоже заражается решимостью.

К концу первой недели к нам посадили воришку. Средних лет, невзрачный и апатичный, он оказался обладателем острого соображения: чутьем угадал, что мы не коллекторы из экспедиции, а концлагерники. Не признаваясь в этой своей догадке, он вяло говорил, как надоело ему в ссылке и хочется сделать что-то яркое, необыкновенное, — когда он говорил об этом, у него горели глаза. Мы решили его взять с собой и накануне исполнения посвятили в свой план. Он согласился, не раздумывая.

Прошло уже две недели. Нечего ждать. Настала холодная погода, мы переселились в камеру с разваленной плитой, где окна были со стеклами. Запасли большой кухонный нож, черный от ржавчины. Им нельзя было бы зарезать и куренка, но выглядел он зловеще. Мы готовы. Чтобы не подводить Федора и другого симпатичного надзирателя, остановились на Кулаеве.

В половине двенадцатого, когда тюрьма и город наглухо закрылись в ватную тишину, мы попросили Кулаева выпустить нас в уборную. Ворча, он открыл дверь. Мы вышли в едва освещенный коридор, оттуда во двор, в угол, где была уборная. Там был спрятан нож. Под рубашками приготовлены полотенца, связывать Кулаева. Я взял нож, пошли назад.

Кулаев встал к нам спиной, отпирая камеру, — по тупости своей он ее запер, хотя в камере никого не оставалось. В эту минуту я занес над его лицом, из-за спины, ржавый нож и слышным шопотом произнес:

— Не шевелись!

Кулаев замер. Выкаченными глазами он смотрел на нож. Хвощинский в миг срезал у него наган. Взмахнув наганом

перед лицом Кулаева, словно чтобы показать ему, Хвощинский ткнул наган Кулаеву в бок и скомандовал:

— Руки назад! Не двигаться!

Нож больше был не нужен, я закинул его в темь угла, и схватил полотенце. Вор Митя кинулся связывать Кулаеву ноги.

Мы все предугадали. Но этого не могли предвидеть. Кулаев судорожно и могуче повел телом и руками, стряхивая нас с себя, и завыл.

Никогда ни прежде, ни после я не слышал такого воя. Я не мог бы представить, чтобы большой, сильный человек, да и любой человек, мог так выть. Это был даже не вой, а пронзительный нечеловеческий визг, переходивший в вой. Он рождался где-то в животе Кулаева и в горле вытягивался в тонкую сверлящую струю поросячьего и вместе с тем металлического неживого визга, от которого у нас перехватывало дыхание. Визг был бессмысленным и до того громким, что он, ввинчиваясь в уши, пронзал насквозь и, казалось, проникал через двери и стены и разносился по всему городу. Для такого визга не могло быть преград.

Мы оцепенели. В следующий миг Хвощинский бросился к двери во двор, а я суматошно кинулся затыкать Кулаеву рот, совал ему в зубы полотенце, бормоча:

— Замолчи! Тебе ничего не будет! Мы ничего тебе не сделаем, дура, молчи! Замолчи, балда!

Взматывая головой, он искусал мне пальцы, полотенце окрасилось кровью, но я не слышал боли, я ничего не слышал, кроме звериного воя-визга, мутившего мозг. Кулаев даже кусаясь не переставал визжать.

Мы с Митей повисли у него на руках, стараясь повалить, но ничего не выходило. Он не дрался: он стоял на месте, будто ноги его вросли в пол, и только судорожно поводил плечами, руками — они были, как из камня. Мы продолжали кричать, чтобы он замолчал, но он не слышал. В эти секунды мы не могли отчетливо сообразить, что Кулаев был смертельно испуган и мог только стоять столбом и выть.

Хвощинский вбегал в коридор, что-то кричал нам, размахивая зажатым в руке наганом, и опять убегал. А мы не могли справиться с Кулаевым вдвоем. Наконец, я подставил Кулаеву ногу, вцепился в него сбоку, Митя навалился спереди, —

мы повалили его, повернув лицом вниз. Уткнув нос в пол, Кулаев вдруг перестал визжать. Теперь он животно икал, всхлипывая, но безумного воя больше не было. Мы крутили ему руки за спину — он судорожно разводил ими, делая плавательные движения, и наши усилия были зря (потом мы узнали, что Кулаев один ходил на медведя и в шуточной борьбе разбрасывал по двенадцать человек). В полутьме все путалось, я хватал руки то Кулаева, то Мити, а Митя мои и в суматохе мы только мешали друг другу.

Это продолжалось три-четыре минуты, — для нас прошли часы и казалось, что давно весь город на ногах. Вбежал Хвощинский — с перекошенным лицом, он панически крикнул:

— Кончайте, бросьте его! У ворот были трое, они побежали к милиции!

Сейчас поднимут тревогу, прибегут и перестреляют. План рухнул, надо спасаться, как сумеем.

Митя распахнул дверь, мы приподняли Кулаева, чтобы втолкнуть в камеру — икая и снова подвывая, но уже тихо, он бросился в камеру сам. Захлопнули дверь, задвинули засов.

— Бежим! — задыхаясь, крикнул Хвощинский. Мы тоже тяжело дышали, с нас лил пот, тело тряслось, от борьбы и ужаса: уши еще сверлил визг. Надо взять в камере бушлаты и рукзаки. Открыли снова дверь, вошли в камеру — Кулаева не было. Хвощинский побежал к нарам — тотчас раздалось глухое урчанье, в нем трусливая жалоба, отчаяние, угроза. Кулаев забился за плиту в угол, присел там — видно было только его лицо, с бессмысленно выкаченными глазами и открытым ртом. Ворча и подвывая, он запустил в Хвощинского кирпичом — острый угол кирпича располосовал Хвощинскому лоб. Хвощинский присел, метнулся дальше к нарам — второй кирпич свалил его с ног. Кулаев левой рукой судорожно выламывал из плиты кирпичи, а правой метал их в нас с такой силой, что попадая в стену, они разлетались в крошки.

Мы отступили, вытащив Хвощинского. Заперли камеру и бросились во двор, ожидая увидеть милиционеров. Но никого не было и над городом висела странная, непонятная нам тишина. Прибегут сейчас, драгоценна каждая секунда. В углу двора перемахнули через забор в соседний двор, еще забор и еще — мы оказались на улице позади тюрьмы.

Пошли быстрым шагом, стараясь удержаться от бега. У Хвощинского лицо залито кровью, я обмотал руку окровавленным полотенцем. А еще нет полуночи, могут увидеть. Как только вышли из города, опять бросились бежать.

Мы бежали до утра. Задохнувшись, сваливались в мокрую траву, лежали, поднимались и опять трусили дальше, по лужам и болотам, напрямик. Когда выдохлись, уже не могли бежать, а только ковыляли, но нам казалось, что мы все еще бежим. Надо было бежать, чтобы уйти как можно дальше от города.

Мы и ушли далеко. Но мы никуда не могли уйти...

МЫ КАПИТУЛИРУЕМ

Уже во время этого беспросветного бегства из города я знал, что мы не уйдем. Я об этом не думал и вообще ничего не соображал, под властью одного чувства: уйти от непосредственной опасности. Но глубоко в душе было горькое, травившее сознание чувство: это наше бегство — только отчаяние. Надежды больше нет и дело наше конченное. Впервые со дня, когда мы ушли из лагеря, пути вперед были отрезаны. Мы могли идти, сколько угодно, сколько сможем, но никуда мы не придем. Духом мы уже капитулировали.

И зная, что никуда не уйдем, мы упрямо шли. Продирались сквозь лес и кустарники, болота и озера, переправлялись через потоки, уходя далеко в стороны и возвращаясь назад, туда, где тянулась проволока телефона. Это теперь был наш единственный ориентир. Но проволока тянулась прямо через болота и озера, нам приходилось их обходить. За сутки мы делали по сорок-пятьдесят километров, — сколько выходило по прямой? Мы знали, что мало. Чтобы уйти, надо пройти почти тысячу километров. А август идет к концу.

Погода переменилась, без остановки шел холодный дождь, то мелкий и нудный, то ливший ливнем. На нас одни рубашки и ни одной сухой нитки. Сапоги разваливались, а Митя шел в опорках — от них остались ошметки. Не было спичек, чтобы развести костер, обсушиться и обогреться. И нигде не было и помина сухого места.

На ночлег забирались под разлапистые ели. Дождь туда не проникал, но все равно было сыро и холодно. Сбивались в кучу, грея друг друга собственными телами. Делали, как делают урки: надевали рубашки не в рукава, чтобы ворот оставался над головой, и застегивали его там. Свернувшись в клу-

бок и надышав под рубашкой, мы согревали так ночью спину и грудь.

Не было ни хлеба, ни табаку. Мы питались ягодами. Черники, голубики, смородины, морошки, малины было так много, что на остановке за четверть часа мы наедались ягод до отвращения. Голода не было.

На горельниках красные от ягод кусты малинника закрывали с головой и уходили на километры. Собирая ягоды в одном таком малиннике, мы услышали впереди треск и шорох. Затаив дыхание, раздвинули кусты — недалеко на полянке на задних ногах стоял громадный медведь, передними лапами он сгребал кусты с ягодами и отправлял в пасть. На морде у него было написано наслаждение.

Но ничего не занимало, все проскальзывало мимо сознания. Оно мутилось от отчаяния. Снова и снова я возвращался к последней ночи в тюрьме, вспоминал до мельчайших подробностей, что тогда произошло. Почему не удалось, что случилось, что помешало? Да, нас оглушил, смял этот ни с чем несравнимый визг. Но мы ведь не отступали, — почему же не выдержали? Ключи были у нас, мы могли открыть клеть и продолжать... Сорвалось в ту секунду, когда Хвощинский крикнул: у ворот были трое и побежали в милицию. Тогда некогда было думать, что это за люди, их мог привлечь дикий визг. Но казалось, что тут что-то не так, я чувствовал, что именно эта секунда нас подвела, хотя не должна была бы подводить. На ней мы сорвались, но не должны были бы срываться. И едкая горечь из-за этой непоправимой ошибки, которая оставалась еще неразгаданной, мучила почти физической болью.

Мы шли молча, не о чем было говорить. Но Митю мучила такая же боль. И догадка. Он приставал к Хвощинскому: кого он видел у ворот? Хвощинский путался. Один раз сказал, что у ворот были трое, в другой, что двое, в третий, что он не разобрал. Митя смотрел на него с презрением.

И Мите, и мне было почти ясно: у ворот никого не было. У Хвощинского сдали нервы. Чтобы прекратить визг и возню с Кулаевым, он обманул нас. Не выдержал пяти минут и заставил уйти в лес, как предлагал прежде. Заставил сорвать весь план, сорвал все наше дело. И теперь мы должны идти, зная, что никуда не уйдем.

Безнадежность стала еще очевиднее. Без веры друг в друга,

без веры и в успех, с одной едкой горечью в душе, — что остается нам?..

На шестой день дождь перестал. Небо очистилось и солнце, как в утешение, согрело нас. Мы высохли и долго лежали на пригорке, зная, что спешить некуда.

Во второй половине дня шли кустарником, путаясь ногами в черничных зарослях. И вдруг вышли на поляну, полную женщин.

Это было так неожиданно, что мы остановились. Женщины, с лукошками, поднялись от ягод и смотрели на нас со страхом и недоумением.

Из-за кустов вышел высокий, степенный, бородатый крестьянин. Спокойно и негромко он сказал женщинам:

— Чего стали? Ступайте, нечего смотреть.

Пугливо озираясь, женщины покорно ушли в кусты. Крестьянин повернулся к нам.

За кустом лежало обомшелое дерево, мы сели. Крестьянин ничего не спрашивал. По лицу его было видно, он знал, кто мы. Он достал кисет, протянул нам. Мы закурили, первый раз за шесть дней.

Крестьянин молчал, спокойно посматривая на нас. В его взгляде не было ни вражды, ни сочувствия. Может быть, сочувствие скрывалось за плотной пеленой спокойствия, слишком большого, чтобы оно могло ободрить и обнадежить. Такой взгляд мог только говорить: «Я — душой с вами, но дело ваше проигранное».

Спросили, где их деревня. Она была рядом, налево за кустарником. Крестьянин назвал деревню — всего километров тридцать от города, считая по прямой. А мы, плутая по болотам, за шесть дней прошли километров двести с лишним.

Женщины — больше спецпереселенки, есть и местные. Он тоже спецпереселенец, привезли летом. Раскулачили его в прошлом году.

Крестьянин пошарил в траве за бревном, вытащил котомку, из нее большой кусок пирога с ягодами. Мы разделили пирог и съели. Предложил нам еще табаку. Завернули в запас по папироске, взяли у него спички, поблагодарили. Больше он ничего не мог сделать для нас. Попрощались и пошли дальше. Он провожал взглядом, тем же спокойным, говорившим, что ничего не изменить и что мы обречены.

Мы знали это. Женщин было не меньше пятнадцати, — не-

возможно предположить, чтобы ни одна не проговорилась. Через час вся деревня будет знать.

Но и не было желания сопротивляться, уходить от неминуемого: мы все равно проиграли. Минутами еще вспыхивало беспокойство и хотелось уйти — желание гасилось сознанием безнадежности.

Вечером вышли к озеру. Обходя, попали на перешеек, за ним начиналось другое большое озеро. Дороги кроме нет. И как только пошли по перешейку, возникло тягостное, тоскливое чувство: на этой дороге ничто хорошее нас не ждет.

В конце перешейка из кустов вышли крестьяне-охотники, с винчестерами в руках. Их было человек десять. Хвощинский бросил им наган, они окружили нас и повели.

Ночь провели в пустой избе, лежали, дремали на полу. На лавках у двери дежурили вооруженные крестьяне. Они принесли хлеба, рыбы, молока. У них тоже не было к нам никакой вражды, они выполняли приказ.

Рано утром на трех лодках нас повезли в город. К вечеру мы вошли в знакомую тюрьму.

СНОВА ЗА РЕШЕТКОЙ

Тюрьма встретила взволнованным гулом. Три камеры были набиты битком, только четвертую держали свободной, для нас. Наш побег всполошил край. Уполномоченного НКВД сняли и отозвали в центр округа, новый первым делом согнал в тюрьму около сотни ссыльных, воров. Они встретили восторженно: для этой бесшабашной публики мы были героями. Днем они работали, многие на пристани, — придя с работы, они совали нам в окно или в окошечко в двери хлеб, масло, колбасу, что сумели на пристани стащить.

От них мы узнали, что тревогу после нашего бегства подняли только утром. Надзиратель Федя, придя сменять Кулаева, оборвал звонок у ворот и не дозвонился. Федя перелез через забор, вошел в коридор, нашел на полу ключи, открыл камеру — и увидел Кулаева. Он всю ночь просидел за плитой, у него было нервное расстройство.

Я окончательно перечеркнул Хвощинского. Этот человек для меня мог больше не существовать.

Кулаев ненавидел нас смертной ненавистью. Два раза ночью он совал в окошечко нашей камеры наган. Стрелять ему не позволяло, наверно, благоразумие. Федя посуровел, но нечаянно взглядывал так, как будто хотел сочувственно подмигнуть. Третий стал замкнутым и недоступным.

За нашим окном стоял часовой с винтовкой. Но все это было мелочью, по сравнению с нашим крахом.

Впереди теперь все ясно. Концлагерь и расстрел. Этого не избежишь и ничего не поправишь. Все упущено, ничего не вернешь и не повторишь. Бежать с дороги? Но с дороги почти

нельзя бежать. И это «почти» такое ничтожное, что его надо скинуть со счета.

Холодно, мы мерзли на голых нарах. Принесли со двора кучу гнилых сетей, на которых летом играли в карты с Федором. Часть постелили, частью укрывались, — сети как будто грели.

Уполномоченный не вызывал. Незачем: через пять дней нас вывели, посадили на пароход и повезли.

Мы ехали туда, куда и хотели. Но ехали на средней палубе позади трубы, где, как для зверей, было отгороженное решетками помещение. Везли на следствие человек пятьдесят ссыльных, среди них были и мы.

Опять могучая река, плывут мимо редкие селения. Тут должны были бы мы идти. Дней через пять свернули в такой же полноводный приток, остановились у большого села, центра округа. На пристани — энкаведист и два красноармейца. За нами.

Хвощинского и меня ссадили и повели в НКВД. Митя поехал дальше, у него другая дорога. Во дворе двухэтажного дома — еще высокий забор, за ним тюрьма. Длинное, приземистое, из толстенных бревен здание, раньше, наверно, склад или баня. Наверху в стенах прорублены окошки-щелки, забранные решетками. Вокруг ходят часовые. Внутри — широкий коридор, по обе стороны — много дверей в камеры-чуланы. В одном из них мы провели ночь. Один спал на узкой койке, другой под койкой: больше места в чулане не было.

Утром перевели в общую камеру: метра два с половиной ширины, метра четыре в длину. Двойные нары. Нас — восемьнадцать человек. Днем сидели на нарах, ночью часть забивалась под нижние нары. А один днем и ночью сидел в узком проходе, на своих вещах.

Сокамерники были крестьяне из большого села неподалеку. Их недавно раскулачили, но не выселяли и они еще жили в родном селе. Потом их обвинили в том, что они готовили вооруженное восстание. Взяли человек двести, эти, что сидели с нами, считались главарями. А сидевший в проходе седой тщедушный старичок, ссыльный профессор духовной академии, был признан их идейным руководителем.

Крестьяне отнеслись к нам внешне спокойно, а внутренне

настороженно: мы были слишком чужды им. Может быть, они подозревали, что мы подсажены к ним, хотя мы ни о чем их не расспрашивали. Занятые своим горем, мы молчали; крестьяне, молодые и старые, бородатые и еще безусые, молчали тоже, нахмуренно и угрюмо. За день в камере не произносилось и десятка слов.

В первые дни мучила жара: неожиданно вернулись теплые дни. От параши несло вонью, мы задыхались в спертом воздухе. Раздевались почти до гола и обливались потом. Только ночью, когда все лежали без движения, из окна тянуло прохладой.

Мучил голод. Утром давали триста граммов хлеба-замазки, два раза приварок, — приварок был тонким издевательством. В обед — консервная баночка чистой горячей воды, — но это была не вода. Это была настоящая, жирная уха. Мы выпивали ее, чуть не стеная от жадности и наслаждения. На второе — половина рыбьей головы, сваренной в этой ухе. Мы обгладывали каждую косточку.

В селе был консервный завод — рыбьи головы, от метровых осетров, язей, нельмы, максуна консервный завод сдавал НКВД для кормежки нас. Головы варили, заправляя воду одной солью, — все равно получалась умопомрачительная уха, от одного запаха ее с кухни, перед обедом, у нас сводило скулы.

Крестьяне ели не спеша, размачивая в ухе сухари. В камере было тесно не от одних людей, а и от мешков: у каждого крестьянина — мешки с сухарями, хлебом, шаньгами. А мы проглатывали уху и рыбьи головы, в обед и вечером, в мгновение. После всего пережитого, у нас появился волчий аппетит. И мы ложились, закрыв глаза, чтобы не видеть, как крестьяне продолжают есть.

От мешков тянуло плесенью. Хлеб у крестьян портился, то один, то другой выбрасывал в парашу зеленые, уже в трухе, куски. Но ни один не предложил нам ни крошки. Они видели, что нас сводит от голода — ни один не помог. И казалось, что в камере душно по особому — еще и от тяжелой крестьянской жадности, усугубленной жадностью тюремной. В тюрьме, занятый собой, своим спасеньем, человек может быть особенно жесток.

Не помогали крестьяне и старичку-профессору, у которого не было мешков, хотя они его хорошо знали: он три года прожил в их селе. Тоже страдая от голода, старичок кротко улыбался и целыми днями читал книжечку в черном переплете — евангелие.

Хвощинский не выдержал пытки голодом и взбунтовался. В одну из ночей он полез под нары и набрал из мешков запазуху сухарей. Мы осторожно сосали их, чтобы не услышали лежавшие рядом собственники.

Дня через два, после приезда, по одному, вызвал уполномоченный. Этот оказался деловым человеком. Выслушав начало нашей легенды, он усмехнулся:

— Как хотите. У нас есть время. Сидите, пока мы не узнаем...

Скоро крестьян куда-то отправили. Суматошась, они вышли, может быть в свой последний земной путь.

Тюрьма опустела: остались только Хвощинский и я. Некому было варить уху — Хвощинского перевели на кухню, поваром, он и жил там. Я сидел один и замерзал: на дворе лужи уже сковывало льдом, а стекол в окне не было.

Я не долго мерз один: привели лохматого, взъерошенного человечка, старика лет шестидесяти. Войдя в камеру, он длинно и смачно выругался, деловито расстелил на нарах полушубок, положил в голова остальное свое барахлишко и завалился спать, чувствуя себя, как дома.

Он и был дома. Он оказался давним испытанным вором, с более чем сорокалетним стажем. Он воровал всю свою сознательную жизнь, сидел еще в царских тюрьмах. Он их вспоминал с нежностью. К нынешним относился с ярым презрением, милицию и НКВД он ненавидел, как только мог.

Он не умел связно говорить и, пересыпая свою речь ругательствами, вздорно перескакивал с одного на другое. У него не было никакой дисциплины. Но были крепкие убеждения, о чем он и не подозревал. Это был законченный, крайний индивидуалист, не признававший зависимости и подчинения. Он не желал знать законов, обычаев, правил и хотел жить только так, как хочет он сам. Еще юношей, рабочим, он порвал со своей средой и стал воровать, чтобы жить по своей воле. С

тех пор бóльшую часть жизни он провел в тюрьмах, но считал, что жил хорошо. Он, в общем, был доволен судьбой.

Не подозревал он и о том, что до конца вырваться из человеческих установлений он не мог. У него была одна страсть — к семье, хотя и своеобразная. Выйдя из очередной тюрьмы, он находил себе жену и создавал семью. Если не попадался три-четыре года, плодил детей и превращался в заботливого мужа и отца, стараясь воровать больше, чтобы обеспечить семье сытую жизнь. Эта забота приводила его опять в тюрьму. Отсидев положенное, он возвращался к семье, а если нельзя было, в другом городе заводил новую. У него по России было раскидано с десяток жен и много детей, — сколько, он и сам не знал. Но любви к женщинам он не испытывал и относился к ним сурово и пренебрежительно, как к низшим существам. Так уж положено, считал он, чтобы у мужчины была жена, дети, семья, — и он упрямо старался жить так, как, по его чувству, надлежало жить мужчине.

С ним было не плохо сидеть. Признавая одного себя, вместе с тем он не ценил земных благ. Он охотно делился табаком, половину принесенного с собой хлеба отдал мне. Дал он мне и тонкий полотняный парус. Я подстилал часть паруса, частью укрывался с головой — от моего дыхания в парусе становилось тепло.

Бунтовщик по природе, он не стерпел кормления ухой. Получив консервную баночку, он выплеснул содержимое на пол и матерно изругал коменданта. После этого Хвощинскому дали ячменную сечку — теперь мы наедались размазней из сечки.

Попал вор в эту тюрьму из-за неукротимой же любви к воле. Его привезли в ссылку. Он огляделся, приготовился, украл лодку и поплыл по реке вверх, туда, откуда его привезли. Ночью плыл, днем спал, заведя лодку в укрытое место. Стало холодно, боясь, что застрянет, он заторопился, плыл и при свете — и поплатился за спешку: его заметили, задержали и привели к нам.

Через неделю его вызвали с вещами. Он собрался, взял и парус, попрощался и ушел, кляня порядки: даже не знаешь, куда тебя ведут.

Без паруса я окоченел. На дворе уже порхали белые мухи, они залетали и ко мне в камеру. Я показал на них комендан-

ту. Он молча посмотрел на меня и вышел. Через несколько минут вернулся и бросил на нары длинный полушубок. На плечах и на спине — подозрительные рыжие пятна. Наверно крестьянина, владельца этого полушубка, расстреляли тут, рядом, в подвале двухэтажного дома НКВД. Теперь полушубок — мой, он должен греть меня.

Скоро встанет река, а мы все сидим. Неужели останемся и на зиму? Нет, не останемся. Вызвал уполномоченный и весело сказал:

— Хватит, товарищ Андреев. Нам все ясно... — и подробно рассказал, кто и откуда мы...

Ночью отвели на пристань и посадили на пароход. Опять плывем туда, куда хотели. Но опять — под охраной...

Прошли еще две тюрьмы, для нас пересылки. В длинной цепи пройденных тогда тюрем одна запомнилась разве только тем, что была она первой после таежных старой, проплесневевшей каменной тюрьмой в древнем русском городе. Через нее когда-то прошли еще декабристы. В другой коридорный рассказал: в камере, где сидели мы, за несколько дней перед нами была Каплан, эсэрка, в начале революции стрелявшая в Ленина. Ее провезли куда-то в ссылку, после одиннадцати или двенадцати лет в Бутырках.

Это и все, что запомнилось об этих двух тюрьмах. Я не мог бы припомнить даже их внешний облик, так много было тогда тюрем на моем пути. И так мало мы замечали проходившее мимо. Мы как бы одеревенели и ничего не могли замечать. В тупом нашем равнодушии к окружающему, да и к нам самим, к тому, что мы делали сами и что делали с нами, ко всем опросам и обыскам в каждой тюрьме, только где-то в самой затаенной глубине души ворочалось тяжкое, неподъемное: нас везут, мы все дальше и дальше — и все ближе и ближе к концу. И мы ничего с этим не можем сделать, никак не можем противостоять... Это единственное, что было в нас и что представлялось единственной реальностью, даже не было отчаянием. А если это было отчаяние, то оно потеряло способность гореть и действовать: это могло быть только отчаяние обреченности, ставшее покорным. Наверно так себя чувствует скот, загоняемый в ворота бойни...

Со второй пересылкой кончилось путешествие по реке. На пристани мы увидели рельсы. Я смотрел на них, завороженный стальными полосами. Я видел их и в камере. В мозгу отпечаталась путаная сетка полос, по всей стране, по запомнившейся с детства карте. И в этой сетке — длинная изломанная линия, по которой нас повезут...

Вывели ночью, человек тридцать. Кутаясь в рванье, люди закрываются от пронизывающего ветра. Мерзлую землю хлещет косыми лентами влажный снег. В неверно мотающемся свете тусклых фонарей насупленно смотрят спящие дома.

Где-то на товарном дворе конвой приказал сесть на землю. Понуро сидим среди стальных колей, сбившись в кучу. Маячат фигуры конвойных, с иглами штыков над головой.

Вздыхая и негромко погромыхивая, паровоз подтолкнул к нам столыпинский вагон. Цепляясь за высокие подножки и поручни, влезли внутрь, — тепло и просторно. Разместились по клеткам. Паровоз потащил в одну сторону, в другую, ткнул к пассажирскому поезду. Вспыхнул электрический свет. И что-то изменилось.

Свет был жидким и в этом арестантском вагоне сквозь острый запах карболки и тепло пробивался неуничтожимый дух тысяч и тысяч перевезенных до нас людей, тяжелый и гнетущий дух терпкого человеческого горя и грязных тел, — а во мне рождалось какое-то светлое, обнадеживающее, бодрящее чувство. Что это было, я не знаю, я сам словно с тревожным любопытством присматривался к нему и не мог его определить, — но не было ли это чувство почти освобождения? Может, потому, что кончились скитания по глухомани и все, что было, бесповоротно осталось позади, а впереди будто могло быть что-то новое, — не от этого ли родилось это смутное, сбивчивое, неясное, но все же радостное чувство? И хотя я знал, что впереди нет ничего отрадного, впереди концлагерь и расстрел, вера в концлагерь и расстрел, какими бы неизбежными они не оставались, словно растворялась, улетучивалась и переставала существовать. Может, в самом деле помогали стены вагона, как стены дома, в котором долго живешь, — и они рождали и подталкивали это уродливое, непонятное чувство освобождения за решеткой и штыком конвойного? Но как бы ни было, это чувство возникло и оно уверенно пробивалось вверх, сминая тьму покорной обреченности.

Решетка и штык — рядом. В нашей клетке пятеро, я забрался на верхнюю полку, где еще теплее и откуда лучше смотреть на свет. Я смотрел через решетку, позади — сплошная стена, передо мной, через проход за решеткой, тоже с частым железным переплетом окно. В проходе, чуть ниже моих глаз, поблескивает штык конвойного. Но я не замечаю их, решетка и штык для меня не существуют. Есть только чувство, откуда-то возникшее минуту назад.

Лязгая и громыхая, поезд летит сквозь ночь. Воет и свищет ветер, к черному окну лепится снег. Вагон мотает, после таежной неторопливости кажется, что мы несемся с головокружительной быстротой. Наверно, колеса отрываются от рельс, мы летим вперед, и ни буря, ни метель, ни неизвестность или известность того, что ждет, не остановят нас. Я пьянею от этого полета, в котором теперь у меня все. Только в движении, только в полете вперед вся жизнь, настоящее и будущее.

Мне инстинктивно хочется открыть окно, высунуться в ветер и снег. И крикнуть паровозу, как живому, как самому надежному другу-сообщнику: «Давай, милый, жми, вперед!» И сидя на верхней полке за решеткой, над штыком конвойного, закрыв глаза и улыбаясь блаженству полета, я мысленно высовываюсь в окно и кричу:

— Вперед, вперед!..

ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

То светлое и зыбкое чувство, возникшее в арестантском вагоне из чего-то неуловимого, скоро прошло. Здесь, в тюрьме, как могло бы оно удержаться?

В этой тюрьме старого промышленного города мы застряли. В большой общей камере, — с одной стороны замызганная дверь, с другой высокое потное окно с решеткой, по бокам сплошные нары, между ними длинный стол и две длинных скамьи, — нас было человек полтораста. На нарах умещалось шестьдесят, — остальные на ночь лезли под нары, спали на столе, на узких скамьях, под столом и у двери, у параши. Днем стоял глухой разноголосый гул, ночью храп, тревожно прерываемый стонами и криками ожидающих своей участи людей.

Камера была проходной. Кто ждал приговора, у кого следствие еще не начиналось, третьих пересылали в другие тюрьмы. Каждый день одних уводили, приводили новых, изредка ночью уводили на расстрел. В этой разношерстной переливающейся толпе невозможно было угадать, кто завтра выйдет за ворота, а кого спустят ночью в подвал, где он окончит свои дни. Этого не знали ни те, кто выигрывал в сумасбродной лотерее жизнь, ни те, у кого ее отнимали.

Рядом и напротив — такие же камеры, сбоку — корпус одиночек, но и в них по восемь-девять человек. Тюрьма на тысячу — сейчас в ней тысяч десять.

Нас не вызывали и не посылали дальше. В НКВД решают: вести следствие или отправить в лагерь, пусть разбирают там? Мы хотели остаться: в лагере нас ждет только расстрел. А тут — может, чудом ускользнем? Но что сделать, чтобы не отправляли? Написали заявление — оно кануло, как в яму. И наивно

думать, что заявление поможет. В этом столпотворении ни у кого не может быть столько сил, чтобы вникнуть в судьбу каждого. Те, в чьих руках наша жизнь, могут только штамповать решения, видя перед собой одни дела, приказы, инструкции, родившие это заливающее тюрьмы людское море. Здесь властвует закон больших чисел.

Были в камере инженеры, рабочие, врачи, учителя, служащие, проработавшие в этом краю на рудниках и заводах десятки лет, военные, крестьяне из окрестных сел, два священника, еще уцелевшие офицеры белой армии, было и с десяток воров. Некоторые сторонились всех и целыми днями лежали на нарах, присматриваясь к чему-то, что видели они одни; другие вели долгие разговоры, спорили, ссорились, расходились, чтобы снова сойтись и опять вести тягучие, нескончаемые споры.

Под нами, в камерах поменьше, сидели за золото. Бывшие промышленники, часовых дел мастера, зубные врачи, служащие, мастера и рабочие золотых приисков, — они сидели без передач, на уменьшенном и без того голодном пайке, и так тесно, что негде было ни лечь, ни сесть. Промучившись неделю, не выдерживали и если имели золото, подписывали в НКВД заявление, что добровольно сдают его в фонд индустриализации.

Были и упорные. Тщедушный лысый старик держался долго. Чтобы сломить, его перевели к уркам, в камеру против нас. Выходя на прогулку или в уборную, мы иногда заглядывали в глазок этой камеры — и ошарашенно отскакивали. Сотни две полуодетых и совсем раздетых грязных взлохмаченных существ бесновалось там.

Старика сразу раздели до гола. Одежду урки разыграли в карты. Есть ему не давали: еду отнимали, как только он ее получал. Ночью его загнали под нары, — в вонючей кромешней тьме мелкие воришки, презираемые даже в этом варварском обществе, чтобы до конца унизить старика, поглумиться над ненавистным, не похожим на них человеком, хотели изнасиловать его. Дико крича, старик вырвался из-под нар. Его избили до полусмерти, под предлогом, что он в этом аду будто бы мешал спать более солидным ворам. Через сутки старик был согласен на все.

Он показал: за городом, в его бывшем доме на заброшенных приисках, в укромном месте у него зарыта круглая банка с золотом. С ним поехали, откопали, нашли банку с золотом, но

она была квадратной. Старика не отпустили: сдай круглую банку. Пригрозили камерой урок. В несколько приемов старик сдал три пуда золота...

Нельзя было не спрашивать себя: откуда, почему это дикое надругательство над человеком, зачем свалилось оно на нас? Казалось, вся земля превратилась в камеру напротив, где бесновались урки. Почему мы так пали?..

Справа от меня — московский поэт: узкое лицо с высоким лбом, светлые глаза. Кажется, он самый спокойный из нас. Он напечатал всего несколько стихотворений, за них и сидел. За ним — сельский священник, с растрепанной бородкой и жидкой косицей, малообразованный и неистовый, может быть, немного смахивающий на Аввакума. Слева — колчаковский офицер, собранный и скромный человек. Когда-то он был прикомандирован к комиссии, расследовавшей убийство царской семьи, об этом теперь узнали и привезли его из Читы, где он жил после гражданской войны. Дальше — широкоплечий, с шевелюрой черных волос и окладистой бородой порывистый, горячий инженер с рудника; за ним — городской учитель — бледное, прозрачное лицо, поросшее пепельной щетиной. Это — наша постоянная компания, тоже часами изводящая друг друга разговорами и спорами, в поисках ответа на неразрешимые вопросы.

Шумно вздыхая и покалывая нас острыми глазками, словно мы главные виновники, священник говорит: «Бога забыли, совесть потеряли — теперь казнитесь!» Зло вскидывается инженер. Обжигая священника взглядом, басит:

— Ты брось на Бога свои грехи валить. Привык, а привычка ваше главное зло: за полы держит. Нет, чтобы мозгами пошевелить, одно знаете: «совесть потеряли, Бога прогневили», — передразнивал инженер. — А кто тебе велел Бога гневить? Что ты совестью встречным и поперечным в глаза тычешь? Рассовестились, рассуропились, — никто вам не виноват, кроме вас самих, кроме этой проклятой жалостливости рассейской, мягкотелости интеллигентской. Бога не гневить — надо уметь во время в морду давать, да, да, в морду и не иначе. А мы слюнями исходили: ах, мужичок-страдалец, ах, брат-мастеровой! А он без предрассудков, братец-страдалец: развернулся и дал нам по сусалам. И — одно мокрое место осталось, слизь одна. Заодно он и себя съездил, самого его в дугу гнет, — а кто виноват, кроме нас? Почему не удержали

во время, почему его, подлеца, заранее не проучили, для его же пользы? Куда там! У нас же — непротивление злу насилием! Лежачего не тронь, мировая скорбь! А дело проще пареной репы: мускулишки хляблые, интеллигентские! — потрясая волосатым кулаком, гудел инженер.

— Да разве не били? — усмехнулся колчаковец. — мне пришлось участие принять.

— Плохо били! — отрезал инженер. — Плохо и поздно, когда зверь уже с цепи соскочил. Просуропили, проговорили, а надо было не разговаривать, а руки поотшибать. Люблю англичан: мастаки в этом деле! Что лорд, что мастеровой, с одним искусством могут по мордам тяпать. Бывал я в Англии на боксе — первейшее представление, изысканная публика! Это вам не наша разжиженная кровь: я тоже с отвращением смотрел, а там разряженные дамы от восторга визжат. А у нас — помилуйте, как ему в морду дать, если он богоподобная личность! И прошляпили все на свете: Россию, себя, народ-богоносец. Из богоносца выперли личности с бицепсами и черноземным умом, без всяких цирлих-манирлих, гаркнули — лордам по мордам! — и сиди тут, кайся. Одной культурой, дети мои, не проживешь, на цирлих-манирлих не выедешь. Надо уметь и по морде смазать, культуру мордобития надо иметь.

— Заладили! — с досадой перебил учитель. — Хотел бы я посмотреть, как вы умеете по морде бить. Что вы, из другого племени, что ли?

— А я что, себя исключаю? — огрызнулся инженер. — Я с себя вину не сваливаю, как другие, — он бросил взгляд на священника. Тот едко улыбался:

— Смотрите, люди добрые, какой Аника-воин сыскался! Мордобойную культуру ему подавай! Ты сумей не кулаком, словом человека резануть, чтобы восчувствовал, в сознание пришел! Умей к душе его подойти, душу ему пронзи! Глаза открой! Мордобоем разбойник действует, а у тебя лоб-от крещеный! На кой ляд мне твой мордобой? Ты его обличи, всю скверну ему открой, коя захлебывает его. Он тогда сам очистится, образ человеческий примет. Сказано: познайте истину, познайте Бога — и станете свободными! Людьми станете!

— Э, батюшка, — безнадежно махнул рукой учитель. — Коммунисты тоже твердят: познайте наше учение, идите за нами — и тоже узнаете истину и станете свободными. Ну, ка-

кая разница? Там подчинись — и тут подчинись. А результат, — показал учитель на камеру, — мерзость.

Священник даже поднялся на нарах:

— Вот оно, богохульство, вот оно, вольнодумство развратное! Не клевещи, безбожник, не касайся, чего не знаешь! В том разница, что одно от Бога, а другое от дьявола! Церковь тебя воли не лишает! Верить надо, чтобы такую простую истину знать!

— А ты не ругайся, батя, — примирительно говорит учитель. — Ты спокойно рассуди. Воли ты не отнимаешь, а все же говоришь: подчиняйся и иди за мной. А настоящей веры внушить людям не можешь. Тебе хорошо, ты еще веришь, как дети верят. А мы этого уже не умеем, разучились. Верить, — а как? Наши отцы и деды легко верили: есть рай, есть ад. И самый что ни на есть настоящий ад, с чертями, со смолой кипучей, с огнем геенским. Согрешил и не покаялся — будут тебя черти до Страшного Суда каленым железом жечь, в смоле кипятить, на сковородках поджаривать. Ясно и наглядно, дальше некуда. С одной стороны — страх Божий, наказание, с другой — вечное блаженство за праведную жизнь. Откуда у меня может быть этот последний, конечный страх и вознаграждение, если я не могу себе такого ада и рая представить? Где мне непосредственную, детскую веру в них взять? Мне другое подавай, чтобы я рай и ад умозрительно придумал, сам для себя их создал, по своим представлениям, мне целую систему этики подавай, сложнейшие правила поведения. Хорошо, у меня они есть, — а где взять для тех, кто зверствует над людьми, да еще со злорадством, с упоением? Они тоже ни в рай, ни в ад не верят, их и не останавливает ничего.

— Этим морду бить, — вставил инженер.

— Морду, или как иначе, не знаю. Мне только ясно: одним призывом образумиться и в Бога верить, как отцы наши верили, ничего не достичь. Надо новые представления создавать, — да ведь если эти представления от одного ума, если это только умозрительные представления, как ты ими души заполнишь? Все равно червоточина останется, как от батиных призывов поверить ему и идти за ним.

— Не мне верь, Богу, — буркнул священник.

— Вера сама должна создаться — продолжал учитель. — И в самом деле души пронзить и образумить. Как она создастся? Да наверно, из этого светопреставления и возникнет.

Надо пройти через это торнило, прокипеть всем, провариться — тогда только образуется. В этом, очевидно, весь смысл происходящего и другого не может быть. Батя прав: забыли Бога, но он предлагает к нему так, прямо, попросту вернуться, — а так не бывает. Надо преодолеть, выстрадать новые представления, только тогда будет крепко...

Сквозь плотный камерный гул от этих слов будто обволакивает тишина, можно думать в одиночку. Мы молча лежим, пробивается опять мысль о нашей личной неудаче, с бегством, и я думаю, что она не только от нас. Ну, да, у нас были ошибки, неуменье, — но разве только в этом дело? Было и уменье, была вера, была решимость. Почему же не ушли? Но куда бы мы ушли? Разве от этого уйдешь? И разве получается у других? Разве случайность, что энергия миллионов людей, расходуемая на инстинктивное, откуда-то из глубин духа идущее сопротивление, не ведет ни к чему? Как бы мы могли выделиться из этой общей участи, уйти от общей судьбы? В этой тюрьме, как и в других, воочию, почти осязаемо видно дикое сплетение обнаженных страстей, горючего горя — и мстительной ненависти и злобы тех, кто вздыбил это сплетение, — и немыслимо отделить себя от всех и вырваться из общего круга. Твой случай — только микроскопическая частица общей беды и эта частица меркнет, теряет свою значительность, как только мысленно окинешь клокочущий поток, в который она вовлечена. Еще ничего нет, что воздвигло бы в нем преграды, ввело бы в спокойное русло — и не удается никому, не могло удаться и нам...

Учитель говорит:

— Вместо веры сейчас есть ее заменитель: вроде неосознанной веры в вечно бурлящее вино жизни, в некое жизненное буйство, от начала веков, от первой клетки и до последней, до скончания веков. А поверх — разум, но не преображающий, не организующий буйство в человеческую жизнь, а производное от этого же вина, пена над ним, едкая кислота, и задача ее только оседлывать вечное бурление, хитро обманывать его, ловчить, а не преображать. «Ничего нет, кроме вечно движущейся материи» — вот и вся вера. А для каждого человека, как итог, все равно: яма, могильные черви, сгниешь и памяти не останется. Поэтому главное, пока жив — именно кипение, хмель жизни. И ценится в нем только успех,

внешний успех, достигаемый все равно, какой ценой. Это — вроде религии успеха.

— Язычество поганое, поклонение не деревяшкам-идолам, а безвещественному идолу, вашему дьяволову опьянению, «хмелю жизни», — ворчит священник.

— Да, если хотите, современное язычество, — соглашается учитель. — Преклонение перед вином жизни, не осмысленным религиозно, а поэтому как бы не освященным. Отсюда — языческое нахождение смысла жизни в растворении себя в толпе, в коллективе, в бессмыслии массового опьянения, в уничтожении целей и идеалов, кроме идеала внешнего успеха. Есть успех — идеал оправдан. Нет — какой бы ни был идеал, раз не оправдывается, не приносит немедленного барыша — пусть валится в пропасть. Такие не нужны. Для достижения успеха, понятно, можно написать идеал, как уловку, золотыми буквами, но поклоняются все-таки только успеху. Это — не вера, а безграничный цинизм и выверты ума, создающие общую сумятицу. Настоящих сдержек нет — и рушатся остатки культуры, потому что культура — всегда дисциплина, система сдержек... Кроме никак не объяснишь. Ведь если посмотреть со стороны — в глазах потемнеет. По всей стране из конца в конец гонят под конвоем эшелоны, тюрьмы набиты людьми всех званий и положений. Почему, зачем? Кроме редчайших исключений, ни у кого нет сознания своей вины. Какая вина, против кого, за что? Сидеть в тюрьме можно, только зная, что совершил преступление, но мы ведь не совершали преступлений. Почему же образовалось тюремное государство в государстве? Мы даже не сопротивлялись сознательно: сознания такого нет, мы сами под гипнозом идеала внешнего успеха. А бессознательно каждый может быть против, — власть, первая ценительница внешнего успеха, это знает, — и сажает нас без разбора, по разверстке, чтобы нагнать страх на других, мешающих ее успеху. И ничего не изменится, если нас освободить, а на наше место посадить других. Мы — на роли огородных пугал. Как ты будешь с этим бороться?

— Бороться, наверно, и нельзя, — задумчиво говорит бывший офицер. — Да, будто бы верно: все против большевиков. Кто «за», тех совсем ничтожный процент. Чем же они держатся? А тем, по-моему, что нет у нас силы их начисто отрицать. Они почти у каждого находят какую-то видимую или

невидимую зацепку. Мы воспитаны на высоких материях: борьба за свободу, за справедливость, за человека, за самые высокие идеи. Большевики не дураки: они все эти идеи присвоили себе. Спекуляция, разумеется, но они одни владельцы этих идей, — кроме нас, конечно, у нас эти идеи тоже в душах сидят. Нас и поддевают за них. Одного за одну какую-нибудь частность, другого за другую. Вместо человечности получается бесчеловечность, но, может, если потерпеть, что и выйдет? Даже если не верим, что выйдет, какое-то сомнение остается. На этом нашем сомнении они и едут. А надо решительно все отрицать. Обещает оно что или не обещает — все равно отрицать, до конца. Бесповоротно надо решить: все, что от большевиков — все нечисто, положительно все. Это-то нам и не под силу. Нельзя же одним отрицанием жить. И мы катимся по инерции. И по-зарез нужное отрицание заменяем неощутимым утверждением. А какое другое утверждение — где его взять? Его же надо собрать, осмыслить, сделать знаменем — как это сделаешь в наших условиях?..

Иногда поэт читает свои стихи. В них тоже напряженная боль раздумья, о том же, в чем живем. Стихи серьезны и хороши. Почему он не мог постараться остаться в Москве, чтобы писать? Он знаком с Горьким, у него есть и еще друзья на самых верхах. Лежа рядом, заложив руки за голову, сосед неторопливо говорит:

— Это время — не для творчества. Мы — только материал для другой жизни, которую мы не знаем. Как бы ни представлял ее себе, всегда ошибешься. А в качестве материала мы мало что значим. Никому из нас не дано создать что-то значительное, что осталось бы на века. Останутся одни упражнения, свидетельства наших корч. Сейчас время для преступлений, для величайших вывихов, — герои этих вывихов, нынешние Квазимоды, разрушители, вероятно, останутся. История будет помнить их с гадливостью, — хотя, может быть, и с примесью уважения, чего я бы не хотел. Но мои желания не имеют ни малейшего значения. Я, вы, мы все — только материал для будущего. И не в обычном смысле: раньше люди могли готовить будущее, создавать его, а мы — только навоз для будущего. Поэтому у нас не может быть настоящего искусства, как, скажем, в прошлом веке. Искусство питается неудовлетворенностью и жаждой совершенствования, но для того, чтобы оно было подлинным искусством, оно должно

оплодотворяться большой верой. Наши классики знали, чего хотели, отрицая, они утверждали, строили, создавали ценности. Те же «свобода, равенство, братство» были двигателями целой эпохи. Наши отцы, собственно, тоже были язычниками: люди большой культуры, они верили в такие слова, как в фетиши, непосредственно — и творчество их было цельным и непосредственным. А сейчас все под сомнением, все стало относительным. И может быть только подлаживание под непосредственность. Нет веры — нет и искусства, которое могло бы возвышать и облагораживать. Есть подделки под искусство, стряпаемые в процессе той же низкой, темной борьбы за осколки раздробленных ценностей. Вечно так не будет, придет новая вера, которой мы еще не можем вообразить — и вещи предстанут в другом свете. Тогда будет время и для искусства...

Так кончаются все наши разговоры: еще ничего нельзя сделать и остается ждать, покориться мутному потоку. Словно у нас сломлена воля и мы не можем вырваться, — или воля наша скована, мы потеряли ее и воли у нас больше нет? Или в самом деле еще не пришло время и мы пока можем только беспомощно тыкаться в углы, как слепые котята? И мыкаться по вонючим камерам, ставшим словно символом всей нашей жизни?

Через три месяца, тусклым февральским днем, нас вызвали на этап...

БЛИЖЕ К КОНЦУ

Еще тюрьма и еще. Нас везут маршрутными этапами, по изощренно и заботливо разработанному плану тюремных перевозок живого груза. От города к городу, от тюрьмы к тюрьме, по огромной дуге, опускающейся на юг и возвращающейся к северу.

Долгие передачи от конвоя тюремной страже, обыск — и нас распихивают по когда-то просторным одиночкам. Теперь в них по восемнадцать-двадцать человек. Новичкам место у параши. Мутит и от переливающейся через верх жидкости, и от терпкого горя перебывавших здесь, кажется, впитанного облезлыми, в ржавчине плесени, глухими стенами. Если бы они могли говорить, они кричали бы, и крика их хватило бы до конца света.

Заросшие лица, грязь и лохмотья, потухшие или воспаленные, блуждающие или остановившиеся глаза, сгорбленные спины. Взрывы звериной злобы — мы из-за пустяка готовы перервать друг другу горло, — и вспышки надрывного веселья, пароксизм смеха висельников. Воздух густ, он с трудом проходит в легкие, — может быть, не от скученных тут людей, а от собранных в камере воедино желаний, от скованной, сплавленной в одно воли. Кажется, она висит в воздухе и эту волю к отнятой жизни, к тому, чтобы вырваться из стен, смутную, но жгучую, почти можно видеть. Она раскаляет воздух и может быть вот-вот раздвинет стены, выбьет, как пробку, дверь, выжмет стекла и решетку окна, чтобы к нам ворвался свежий ветер, разогнал едкую вонь, — вздохнув полной грудью, мы выйдем на свет. Но крепки толстые стены, неподвижна дверь, решетки, и низко опущены головы.

Голодно, но голода мы будто даже не чувствуем. Ноет в же-

лудке, но к этому, как к изможденным лицам, как к темной натянутой на скелеты коже, очевидно, можно привыкнуть. Тело требует словно не еды, а чего-то другого...

Еще один этап. И последняя тюрьма. В ней мы будем ждать, когда откроется навигация и нас повезут в лагерь. В нем — конец пути и конец нам. До этого были короткие этапы, мы продвигались медленно и конец казался далеким, — теперь кажется немыслимым просидеть в этой тюрьме без движения целых два месяца. Неужели так придется сидеть и ждать, и ничего не случится и через два месяца нас все-таки повезут? Как выдержать эти два месяца?..

В неурочное время открывается дверь, входит тюремщик: «Кто может работать в бухгалтерии?» Я поднял руку. Повели в канцелярию. Как давно я не видел чистой комнаты, не затуманенного нашим дыханием света из больших окон, столов, за которыми прилично одетые люди мирно сидят и работают! Пожилой человек с добродушным лицом, с тщательно зачесанными наверх остатками светлых волос, главбух, вздев на лоб очки, расспрашивает, что могу делать. Задает и вопрос: за что сижу? Я жду этапа в лагерь, а сижу давно. Может быть смекнув, главбух тихо скороговоркой сказал: «Впрочем, это не мое дело. И не ваше», — он подмигнул, хотя, может, мне только показалось.

Тут не могут знать, что я беглец. При передачах с этапа в тюрьмы и из тюрем на этап я давно подглядел: нас везут с толстым пакетом, покрытым печатями, на каждого еще открытый лист, — в нем только имена, приметы и куда нас доставить...

Я получил передышку: главбух принял. У него работало шесть человек, все они были вольными и относились ко мне по-человечески. Они достали мне пару белья, поношенный пиджак, старую шинель вместо моего провшивевшего кожуха. Меня перевели в другую камеру, более чистую и не так набитую; я отмыл с себя грязь. Целый день проводил в канцелярии, возвращался в камеру только вечером. Какое это облегчение!

Работы было немного, я скоро сделал то, для чего они вызвали лишнего работника. Главбух продолжал держать меня: тюрьме это стоило только лишнюю миску супа и двести граммов добавочного хлеба. Главбух и счетоводы иногда приносили из дома и совали мне корку хлеба, три-четыре вареных

картофелины. Совестно брать подаяния, но совестно и обижать людей: приношения были от чистого сердца. И это были не легкие приношения: горожане тоже сидели на жестком пайке, приносившие отрывали от себя. Но они все же не были связаны так, как я.

Отсюда, из-за решеток, какой счастливой казалась их жизнь! В одно окно бухгалтерии поверх тюремной стены видна другая сторона широкой улицы. Я часто стоял у этого окна. Улица окраинная, но и по ней проходили люди, играли мальчишки. Это были в о л ь н ы е люди. Они м о г л и ходить по этой и по другой улицам, когда хотели. Неужели они не понимают, какое это блаженство? Неужели им не хочется прыгать от радости, кричать, смеяться, плакать от этого безмерного, необъятного, неуемного счастья? Я не могу их понять. Почему они кажутся такими понурыми и невеселыми? Да, они сидят на скудном пайке и должны еще работать за него, у каждого из них есть свои тяжелые заботы. И каждый из этих будто бы вольных людей может в любое время оказаться среди нас. Но шансов попасть к нам у каждого не так уж много: почему он, а не другой? Пока же, несмотря на все заботы, как можно не радоваться, что ты — по ту сторону улицы? И как можно этого не понимать?

Как это много, иметь возможность пойти хотя бы на час туда, куда ты хочешь пойти! На их месте я не усидел бы в стенах и минуты. Я ходил бы до усталости, до того, что свалился бы с ног. Я пошел бы на реку, на площадь, по улицам, смотрел бы на все широко открытыми глазами и жадно пил бы пусть сырой и промозглый, но вольный воздух, не отравленный вонью камеры. И не видеть сбоку людей с винтовками! Да неужели они не понимают, какие они счастливцы?!

И не иметь так близко и ощутимо, как у меня, того, что впереди! Я вздрагиваю, когда вспоминаю об этом, глядя на идущих по ту сторону улицы вольных людей. Пригревает солнце, за окном с карниза свисают сосульки — скоро весна и нас повезут к неизбежному. И ничего нельзя сделать. Это — как глухая стена. Гаснет свет за окном. Передо мной безнадежная, слепая и немая обреченность...

От нее можно отгораживаться, только строя свою стену, исступленно мечтая о чуде, об избавлении, которого не может быть. Не может быть, — но только в этом неверное спасение, подобие спасения, в уходе в себя, в мечту, отделяющую тебя

своей стеной от других неизбежных стен. Зачем, — но откуда знать, зачем надо выдумывать в тяжелые минуты иллюзорный мир, уходя в свои выдумки, более дорогие, чем вся безотрадная окружающая тебя реальность? Может, в этом и в самом деле есть какое-то спасенье?

Тюремный персонал готовился к Первому мая. Готовились и работники бухгалтерии, говорили, кому идти на демонстрацию, устраивали складчину для вечеринки. Меня это не занимало, у меня не было праздника. Я в эти дни городил мир своих выдумок и с головой уходил в него. В канцелярии были литературные журналы, — я писал фантастические рассказы, статьи, письма, и через одного из работников бухгалтерии отсылал их в редакции журналов. Одной стороной сознания я отчетливо знал, что ничего из этого не может быть напечатано: написанное не подходило к времени, оно отвергало его. Но я не слушал эту сторону сознания. Я старался всерьез верить, что посылаемое будет обсуждаться и печататься. И я, вслед за моими письмами и пакетами, выходил из стен тюрьмы, переносился в редакции, ходил по улицам Москвы и Ленинграда, — тюрьмы и того неизбежного, что было передо мной, больше не было. Может быть, я обманывал себя, надеясь, что от меня останется след не только в архивах НКВД?

Мой призрачный мир то возникал, то распадался, — я упрямо выдумывал новый. Он тоже бесследно исчезал, — я строил другой, еще одну иллюзорную дорогую выдумку, то, чего в моей неподатливой действительности не было и не могло быть...

НЕ ОПРАВДАВШИЕ ДОВЕРИЯ

В приемный пункт лагеря привезли, на баржах, в большом этапе, в самом начале лета. Я и тут смотрел, нельзя ли убежать. Но сразу попали за двойную проволоку, целый день нас переписывали, осматривали, водили в баню: все время мы были на виду. А к вечеру Хвощинского и меня заперли в изолятор, в отдельный барак еще за одной проволокой и охраной. Наши пакеты были вскрыты.

Рано утром посадили на грузовик и повезли на север. Мы ехали по широкому шоссе, по тем самым местам, по которым два с небольшим года назад я пришел в экспедицию. Все переменилось. Где была первобытная тишина, проходила широкая просека, лес по бокам изрежен, мелькают заваленные хворостом сплошь вырубленные делянки, с голо торчащими пнями. Минуем безобразные язвы на зеленом теле тайги — черные, разваливающиеся бараки, бывшие лагерные пункты. Люди коснулись этих мест — и их не узнать. Твердо укатанное шоссе, проскакивают новые, еще не успевшие потемнеть мосты, — не видно ни могил, ни костей, фундамента дороги. Пройдет пять, десять лет, — тайга разрушит до конца остатки лагпунктов, покроет их чащей кустарника, позеленит — и сотрется память о погибавших здесь тысячами строителях.

Триста километров промахнули за день. Тогда я прошел их, торопясь за обозом, в две недели...

Изолятор в стороне от поселка. Прочерневшая, пахнущая дымом камера. В ней пятеро: два воришки, завхоз одного из лагпунктов, десятник, счетовод. Они не знали нас.

Утром по одному сводили в Управление, в Третий отдел, к уполномоченному, который будет вести наше дело. Жарко светило солнце. Я жадно смотрел — и ничего не узнавал. Где

наша скромная база — шесть-семь домишек над рекой, барак, кухня, мастерские? Теснились грузные, покрытые копотью бараки, гаражи, склады, ремонтный завод, лес далеко вокруг вырублен, только кое-где остались жалкие кустики. Валяются обгрызки дерева и железа, другой хлам — все загажено и испакощено. Человек всерьез коснулся этого места. Обрыв над ручьем, где я ловил хариузов, больше не был скрыт лесом и оказался совсем близко. Ручей загораживают кучи мусора. Нет и солнечного соснового бора: его вырубили и там теперь ряды домов Управления. Здесь, по тропинке, я ходил гулять с Кроликом — теперь тут широкая ухабистая дорога. Там, где Кролик учуял в кустах беглеца, стоит новенький дом Третьего отдела.

Вместо экспедиции давно уже тут огромный лагерь, раскинутый на тысячу километров, с десятками тысяч заключенных.

По дороге к Третьему отделу встретился знакомый геолог, — с ним, бывало, мы пили чай, подолгу разговаривали. Узнав меня, он шарахнулся в сторону.

Уполномоченному еще не о чем говорить со мной: вызывал только посмотреть. Как на диковинного зверя, приходили смотреть его сослуживцы, пришел начальник Третьего отдела. Я старался быть спокойным, хотя чувствовал себя затравленным.

Нечего было думать. Дело наше ясное и следствие должно занять всего две-три недели. Потом дело пошлют в Москву. Месяца через два-три Коллегия НКВД пришлет приговор. Я знаю, какой он будет. Другого не может быть. Жить нам осталось месяца три, не больше...

Через неделю привели еще одного десятника, кубанского казака. Часа через два, случайно услышав наши фамилии, он превратился в столб. С открытым ртом, выпученными глазами он смотрел на нас. Перехватив губами воздух, еще не веря, он спросил, действительно ли перед ним мы. Услышав ответ, воскликнул: «А вашу могилу показывают в лесу!» Лагерь уже знал, что нас привезли, успел выдумать, что нас расстреляли, и похоронил нас. Что ж, ошибка всего на три месяца...

Меня вызвал начальник Управления, — тот же, бывший начальник экспедиции. Он мало изменился, только пополнел.

И теперь он носит не бушлат и такие же, как у нас, гимнастерки: на нем военный френч, с малиновыми петлицами. Теперь он — царь и бог десяткам тысяч заключенных.

Он встретил меня, почти как доброго знакомого. Пригласил сесть, предложил папиросу. Внимательно и даже участливо смотря мне в глаза, он просил объяснить, почему я бежал? Нет, это не для следствия, он сам хочет понять, что произошло? Мне доверяли, меня ценили, как хорошего работника, я пользовался большой свободой, жил в сносных условиях, куда лучше, чем многие другие заключенные. Наверно, мне не пришлось бы сидеть полностью десять лет, меня освободили бы раньше, — зачем же было бежать? Может, была какая-то особая причина?

Я видел, что он искренне хочет понять что-то, недоступное ему. Мой случай для него — одно голое безрассудство. Не важно, в конце концов, что я сижу в концлагере, справедливо это или нет, хочу я быть свободным или не хочу, — этих вопросов для него не было. Свобода ведь — мираж, есть только «осознанная необходимость». Я должен подчиняться установленному порядку, как подчиняются ему другие, как подчиняется и он сам. И при этом порядке я пользовался лучшими условиями, чем миллионы других людей. Мне дали эти условия, мне доверяли. Почему же я не оправдал их доверия, почему не подчинился и предпочел призрак свободы и вот этот конец реальным благам? Это было ему никак непонятно.

Мне нечего было ответить. У нас — разные языки. Этот трезвый и самоуверенный человек, царь и бог надо мной, был непоколебимо убежден в своей правоте, — моя правота была для него блажью, не стоящей ломаного гроша. Если бы я обладал даром предвидения, я сказал бы ему, что через несколько лет его расстреляют. . .*) Я смущенно молчал и чувствовал себя неловко: он ведь в самом деле хотел понять. . .

Перевели в отдельную камеру. Теперь нас трое. Третий — высокий, нескладный, из углов и изломанных прямоугольников украинский крестьянин Твердохлеб. Длинные руки, похожие на рычаги, громадные ноги волочатся, цепляясь за зем-

---

*) Он был расстрелян в годы ежовщины.

лю; продолговатое лицо с тонким искривленным носом, жесткие черные волосы, лохматые брови, хищно горящие глаза, выставленный вперед костистый подбородок, — увидев, я подумал, что в пустынном месте его испугаешься и днем.

В позапрошлом году, в пункте на юге, у начала шоссе, Петр Твердохлеб получил письмо, о том, что его жену принудил к сожительству председатель колхоза. Он бежал из лагеря, по лесам прошел километров восемьсот до Волги, на пароходе, зайцем, спустился до Сталинграда, оттуда поездом проехал на Ростов, дальше где поездом, где пешком добрался до Одессы. Из Одессы пробирался к себе на Подольщину, но на одном из последних перегонов, в поезде, его арестовали, решив, что он — румынский шпион. Полгода его держали в тюрьме, избивая на допросах. Твердохлеб не говорил, кто он. Он не выдержал только тогда, когда к рукам его привязали провода и пустили ток.

Еще с полгода его везли по пересылкам. В день приезда в лагерь ему снова удалось бежать. Он еще раз проделал почти тот же путь. В своей деревне встретился с женой, с родственниками. Люди мерли от голода — председатель жил хорошо. Твердохлеб убил председателя, вымещая сразу все. Подвернулся какой-то начальник из района — убил и его. Перепуганные односельчане связали Твердохлеба и передали нагрянувшему отряду НКВД.

С неделю у нас пробыл еще один смертник, вор, сын Медведя, начальника управления НКДВ в Ленинграде. Он сбился с дороги, подростком попав в воровскую среду. Отец выручал его, когда он попадался, потом решил, что будет лучше, если сын, для острастки, посидит в концлагере. Недавно этот шестнадцатилетний паренек бежал, был пойман в деревне, стараясь вырваться, случайно убил председателя сельсовета. Это был тихий, при нас смирный, любознательный парнишка с хорошими задатками, в других условиях, наверно, его еще можно было бы исправить. Его отправили от нас, может быть, к отцу...

Следствие затянулось. Предъявили обвинение по десятку статей. Даже в контрреволюции: я и Хвощинский — контрреволюционная группа, и мы хотели бежать заграницу. Наш побег из тюрьмы — бандитизм. Побег из лагеря не просто

побег: это заранее обдуманное групповое организованное злодеяние. Я совершил растрату в тридцать тысяч рублей. И по моей халатности, уже после нашего побега, погибли лошади. Были и другие такие же преступления, легко понятные: бухгалтерия и хозяйственный отдел свалили на нас все, что можно было свалить. На это в нашем положении трудно обижаться: живым надо жить. Не хотелось только быть растратчиком. Я составил список всего взятого нами при побеге, — оказалось рублей на шестьсот. На список не обратили внимания: не все ли нам равно? Одной или двух статей достаточно, чтобы нас расстрелять. Не меняло дела, будет их две или десять.

Только через два месяца следователь вызвал подписать обвинительное заключение. В нем был тот же десяток статей. Я подписал: это только форма...

ПЕТР ТВЕРДОХЛЕБ

В Управлении мы больше не нужны — нас перевели в другой изолятор, на лагпункт Пионерный. Тот самый лагпункт, который два года назад встал перед нами, как символ конца человеческой жизни в экспедиции. Экспедицию он давно доконал, — теперь он символ нашего конца. На нем давно штрафной изолятор, а в одном из бараков, за второй проволокой, — следственный. Неделями мы были в нем одни.

Узкая, вытянутая в длину камера. С одной стороны — две койки из жердей, на одной Твердохлеб, напротив я. С другой стороны — нары на несколько человек, там Хвощинский. Посреди камеры круглая печка из куска обсадной трубы. Против нее — запертая снаружи дверь в коридор; в стене щель, вместо окна, на уровне головы.

В уборную и на прогулку выводят, держа наган в руке. За проволокой встает еще один охранник с винтовкой. Нас крепко стерегут — для смерти.

Так надо прожить еще три месяца. Как это томительно долго! И как мало осталось нам жить!..

Сначала Твердохлеб много рассказывал о себе. Неторопливо, по частям, он говорил о своем детстве, о селе, о побегах, о тюрьмах. Части складывались — получалось целое, странное и загадочное, чего до конца, наверно, никогда не понять — получалась жизнь человека.

Твердохлеб не помнил родителей, он вырос в семье дяди. С малых лет пас птицу, потом скотину, подростком работал в поле. Безногий солдат научил его читать, по копеечным книжкам с лубочными картинками. И ему захотелось узнать, откуда взялись слова, почему стол называется столом, а не

иначе? Почему возникла странная связь слов, взявшая человека в плен?

Он по-своему догадывался, что от этой связи таинственным образом зависит вся жизнь людей — и хотел разгадать чудо. В селе откуда-то нашелся толстый энциклопедический словарь — Твердохлеб вызубрил его от доски до доски, считая, что если он узнает значение каждого слова, он будет знать все. Но слова были мудреные, непонятные и знания не получалось, в голове образовалась каша — она еще сильнее будоражила, заставляя думать, искать дальше. Он пошел в церковь, прислуживал священнику, брал у него Евангелие, Библию, читал Жития Святых, — чтение увлекало, но многое оставалось непонятным и, как казалось ему, он не находил того, что ему было нужно. Спрашивал священника — тот оказался невежественным и только оттолкнул мальчика от церкви.

В селе был, как водится, колдун, была и своя ведьма. Твердохлеб долго приглядывался к ним, было жутко, но, может быть, разгадка у них? Он вошел в доверие к колдуну, по его наущению следил за ведьмой, с которой колдун враждовал; подглядывал ночью к ведьме в окно, лез на крышу и смотрел в трубу, ожидая, как ведьма вылетит на помеле. В горшке варил кости черной кошки, нашептывал заклинания; проверяя чудодейственную силу колдуна, сидел ночью на кладбище, ходил на перекресток дорог и бросал в вихри остро отточенный нож — не окрасится ли он кровью бесов, поднявших этот вихрь?

Долго занимала его всякая нежить и нечисть. Ему казалось, что он видел, как уносилась на помеле ведьма к звездам, слышал лешего в лесу, русалок в речке, встававших из могил мертвецов, — обливаясь от страха потом, он упрямо старался разгадать свои видения. Потом словно вдруг прозрел и понял, что никакой нечисти нет и стал зло издеваться над колдуном и ведьмой, разоблачая их перед односельчанами.

В пятнадцать лет, по совету нового священника, Твердохлеб пешком отправился в Киев. По дороге в первый раз увидел железную дорогу, на Днепре пароходы, хотя то и другое давно знал по энциклопедическому словарю. После глуши Подольщины, Киев удивил, но не понравился: еще путанее и непонятнее.

Он поступил в духовную семинарию. За год с небольшим

в ней Твердохлеб совсем отошел от церкви: преподавание казалось ему сухим, церковные догмы черствыми и связывающими, семинаристы распутными. Живая душа Твердохлеба не находила в семинарии самого важного, чего он искал: живого проникновения в жизнь, ее разгадки. Он вернулся в село.

Несколько лет заняло упорное желание забыть все, что он узнал в семинарии. Он чувствовал так, что семинарские знания только мешают его непосредственной связи с жизнью. Твердохлеб вернулся к Библии, годами перечитывал ее, одолевая сам и понимая по-своему.

К двадцати пяти годам Твердохлеб нашел себя. Годы напряженного раздумья привели его к тому, что он стал основателем новой секты и ее проповедником. Его учение было просто и понятно крестьянам: надо жить по слову Божию, подчиняясь десяти заповедям. Выше нет закона для человека. Кто нарушит и раскается — к тому надо быть снисходительным, он такой же брат, как и любой человек. Но к тому, кто не раскаялся и продолжает преступать — надо быть беспощадным. Духом Ветхого Завета веяло от суровой веры Твердохлеба.

Он женился и показывал односельчанам пример нравственной жизни. С женой был строг, но справедлив и человечен, детей своих любил и ласкал, но не баловал, прилежно работал и хорошо вел хозяйство. И Твердохлеб стал духовным вождем и авторитетом для крестьян всей округи. К нему шли слушать проповедь, — он не поучал, а беседовал с людьми, сидевшими рядом с ним на куче дров или прямо на земле. Твердохлеб задавал вопросы, сам отвечал на них, приводил примеры из жизни своих односельчан. Шли к нему и за советами, был он и крестьянским судьей.

Давно установилась советская власть, но в этой глуши она не мешала крестьянам. Твердохлеб признавал власть, пока она не слишком докучает людям. Налоги надо платить, повинности нести, без этого нельзя, но повинности не должны быть несправедливыми, очень большими. И все обходилось — пока не началась коллективизация.

Твердохлеб ее не принял. Коллективизация, считал Твердохлеб — против Бога и против человека. К нему валом валили крестьяне — он открыто говорил свое мнение и стал вождем стихийного сопротивления. Он не предлагал убивать присылаемых из города партийцев, разгонять уже собранные в

колхозы кучки активистов, противиться хулиганству комсомольцев, но крестьяне партийцев убивали, комсомольцев били, не вступали в колхозы и власть знала, что во главе крестьянского волнения в районе — Твердохлеб. Его арестовали, увезли в город, там дали десять лет и отправили в концлагерь.

Он принял это прежде всего, как ужасающую несправедливость по отношению лично к нему. Чуть не двадцать лет ему понадобилось, чтобы создать себе веру, как надо жить, он был твердо убежден, что его вера правильна, в ней не было ничего против человека, недаром же он приобрел уважение крестьян. Это внушало ему уважение и к себе. Теперь оказалось, что он будто бы неправ. Ошибка, преступление?

В тюрьмах он узнал о массовых расстрелах, о раскулачивании и высылке миллионов крестьян, увидел тысячи других невиновных людей. Впервые трагедия раскрылась перед ним не в рамках его села, а в масштабе всей страны. Это его потрясло. Он не любил города и считал, что праведная жизнь может быть только в деревне, на земле, — в нем возникла острая ненависть к городу. Но рядом сидели горожане, они мучились вместе с ним. Честность ума Твердохлеба не позволяла ему обвинять огульно город и горожан, — нет, в этой вакханалии надо разобраться. Откуда она, как не от человека, такого же, как он? И постепенно начала подтачиваться и рушиться его вера в человека, в жизнь, — и в ту веру, которую он создал себе с таким трудом.

В тюрьмах Твердохлеб встретил ученых людей — профессоров, инженеров, политиков. Он осторожно выпытывал их, выспрашивал, потом и спорил, стараясь защитить свою веру. Многие из этих искушенных в диалектике людей, кто насмешливо, кто мягко, но настойчиво, легко клали Твердохлеба на обе лопатки. Он не соглашался, уже яростно отвергал их неоспоримые доводы, ограждая себя, — а в душе копились сомнения, ей наносились раны, образовывалась пустота. Его поразило, что все может быть относительным, все условным и нет скалы, на которой можно встать и утвердиться. Это окончательно рушило его веру и уважение к человеку. Человек оказывался дьяволом, лишающим самого себя основания для уважения. Жизнь — только ад и можно верить лишь в этот ад, созданный неизвестно зачем.

В пересыльном корпусе Бутырок Твердохлеб долго сидел

с анархистами, они посвятили его в тайны организации государства и власти и утверждали во мнении, что все зло от них и от них нельзя оставлять камня на камне. Уже не зная, что слушать, Твердохлеб сначала прислушивался к анархистам, потом даже не отверг, а отвернулся, — от этой встречи осталась только уверенность, что все неправедно, все надо отринуть. Но что надо утверждать?..

Дикий, взъерошенный, Твердохлеб был, как в огне. Его съедала ненависть, презрение, отвращение и к себе самому и ко всем на свете. Не во что было больше верить и ничего не было достойным уважения. В душу вполз разъедающий цинизм, в ней хаос из обрывков мыслей и сжигающих страстей. Кое-как подчиняться внешним устоновлениям, не имеющим никакой внутренней ценности, чтобы кое-как влачить потерявшую смысл жизнь? Он подчинялся, скрывая в себе клокочущий бунт.

Когда в лагерь пришло злополучное письмо, Твердохлеба ничто не могло бы удержать. Два раза он пересек Россию с севера на юг и убил председателя колхоза. Он знал, что председатель — ничтожный винтик, но не мог совладеть с собой. Он убивал, мстя за уничтожение своей веры, уничтожая самого себя, — Твердохлеб не мог жить, ни во что не веря...

В нашей камере он казался мне огнедышащей горой. Укрытый на своей койке бушлатом с головой, он глухо стонал, скрежетал зубами или шумно, на всю камеру, дышал, будто непрерывно вздыхая. В другой раз я наталкивался на упорный взгляд раскаленных глаз, — он неподвижно смотрел на меня, но меня не видел. Страшно становилось от этого взгляда. Что еще, какие сны и мысли мучают его? Негасимое пламя ест его, заставляет стонать и корчиться, — но не так ли корчится и вся Россия? Не так ли корчится и весь мир?..

ПЕРЕД КОНЦОМ

Лето прошло. За стеной воет ветер поздней осени, хлещет в окно то дождем, то снегом. Целый день потрескивают в печке дрова, — от печки дремотный уют тепла и желтые зайчики на двери. Между койками, на полке, заменяющей столик, рано зажигаем пятилинейную керосиновую лампочку — она вырывает из полумрака круг неуверенного света. И иногда кажется, что не будет того, чего мы ждем. Всегда будет вот это уютное тепло, дремотная тишина, спокойная тень в глубоких углах, — может быть, они протянутся надолго, на годы, так, что и не видно еще им конца.

Но дни идут, время отщелкивает костяшки недель, мозг лихорадочно подсчитывает: дело уже в Москве. Может случиться, что оно не задержится, быстро попадет на стол к тем, кто решит нашу судьбу, — тогда конец совсем близко. И не месяцы остаются нам, а недели, может быть, даже только одна неделя: дойти приговору от Москвы. От этой мысли пугливо сжимается тело, хочется поскорее перестать об этом думать. Но перестать нельзя.

В последней тюрьме попала под руку книжка: Митин, «Диалектический материализм и механисты». Я прочитал ее несколько раз: больше читать нечего. И сейчас иногда машинально пробегаю страницу-две, не цепляя мысли за строчки. Если же случайно зацепятся, я вздрагиваю, как от боли. Какое идиотство, рассуждения в этой камере о переходе количества в качество, о скачкообразном развитии истории, чего будто бы не понимал ползучий механист Сарабьянов! А что знает Митин? Злоба кипит во мне: его бы сюда, чтобы ждал, как мы!..

Твердохлеб лежит, его колени под бушлатом подняты острым углом. Не открывая глаз, он шумно вздыхает:

— Все люди одинаковы!

Мне ненавистен сейчас этот деревенский проповедник, его колени острым торчком, упрямо вздернутый вверх подбородок, лицемерно поджатые тонкие, змеиные губы. Я знаю, что за ними.

— Совсем не одинаковы, — зло ворчу я. — Один подлец, другой честный.

Твердохлеб медленно поворачивает голову, приоткрывает глаза.

— Все люди одинаковы. У тебя такое же сердце, мозги, кишки, как у меня. И мясо, и кости. Почему же одни — палачи, а другие — жертвы? Почему вы мучаете нас?

— Это кого же вас? И кто — мы?

— Вы — такие, как ты. Начитались книжек и решили: устроить по книжкам жизнь. А она не выходит по вашим книжкам. Вы и злитесь, изводите людей.

Он говорит спокойно, но я уже слышу напряжение сдерживаемой бури. Я не поддамся.

— Я сижу вместе с тобой.

— Это вроде как случай. Посчитай, сколько нас сидит, а сколько вас.

— Да кто такие вы? — обрываю я.

— А трудовые люди. Которые не по книжкам живут. Ты что в книжке вычитал, то у тебя и на уме. Своего ума у вас нет. Придумаете по книжкам план, и давай кромсать. Кому руку прочь, кому ногу, кому голову. Не пашете, не сеете, а людей калечите... — глаза Твердохлеба наливаются злобой, — еще минута...

— По твоему, все книжки сжечь, а нам голову оторвать?

— И сжечь, и оторвать, — ожесточенно подтверждает Твердохлеб. — Чище будет, меньше невинных пострадает. Трудовой человек, как ни путается, всегда до правды дойдет, она у него от земли, а у вас — вы сами путаетесь, по волчьи по капканам сидите, и других за собой тянете. Волки жадные... — Твердохлеб поднимается на койке, я вижу, он уже взвинтил себя до исступления, лицо у него перекошено от ненависти и дико косят черные глаза.

— А, дубина стоеросовая! — вырывается у меня. Твердохлеб вскакивает, его трясет, он вот-вот бросится.

— Это ты меня? — хрипит он и скрипит зубами. Я прыгаю с койки, хватаю тяжелое полено: если бросится, надо защищаться.

Твердохлеб тоже хватает полено — минуту мы стоим друг перед другом, дрожа от ярости, готовые друг друга измолотить. Твердохлеб никнет, бросает полено, тяжело валится на койку, закрывается бушлатом. И опять тишина.

Так чуть не каждый день. Довольно пустяка — и в камере не продохнуть от нашей ненависти друг к другу. Мы накалены, хотя внешне вялы и спокойны; мы просидели вместе уже несколько месяцев — и напряженное ожидание распаляет нас.

Хвощинский хорохорится, часто грязно ругается и смеется, щеря мелкие зубы, будто ему все нипочем. Но и он часами молчит и в его глазах, в его не смеющихся, а сведенных губах я вижу затравленность и последний, смертный ужас. Ему тоже не легко. Твердохлеб относится к нему пренебрежительно, он для Твердохлеба только мелкий паразит, — я, очевидно, паразит крупнее, — но, чтобы изводить меня, он привлекает Хвощинского на свою сторону. Тогда в камере у нас — ад.

Твердохлеб хитрит, ловит меня на логических ошибках, на оговорках и с радостной злобой издевается надо мной. Эти стычки — только от безысходности, от злобы не друг на друга, и надо бы сдерживаться, но я не могу: во мне тоже кипит злость. А для Твердохлеба наши стычки — не словесный спорт: похоже, он идет на все, чтобы в эти последние дни хотя бы так еще зацепиться за жизнь, утвердиться в ней...

— Нема правды на свити, — вдруг раздается вздох. Твердохлеб откидывает бушлат, поворачивается ко мне — лицо у него жалкое, в глазах только грусть и скулящая тоска. Будто ничего не было и полчаса назад мы не хотели проломить друг другу головы.

— Ты смотри, — тихо говорит Твердохлеб. — Рождается человек — и его сразу связывают, опутывают, не свивальниками, а своими законами. Он еще дитя бессмысленное, не умеет говорить, а про него уже говорят, в списки пишут: подданный этого государства. Он вырастет и скажет: не хочу, — нет, милый, ты уже опутан, со всеми кишками и потрохами, и с умом твоим. Какая же это справедливость? Как же можно отнимать у человека свободу, как только он родился?

Мы говорили об этом не раз и Твердохлеб знает не хуже

меня, почему так происходит, но надо говорить, механически двигать языком, чтобы чем-то заполнить тягучую и томительную пустоту ночи. Я терпеливо говорю, что человек родится в семье, в обществе, в государстве и путы их естественны и необходимы, без них нельзя и он сам не мог бы отказаться от них. Твердохлеб не согласен. Тихо и настойчиво он продолжает:

— Я никому не хочу мешать. Я не преступаю ни божеских, ни человеческих законов. Я не делаю преступлений, я хочу жить только по своему разуму, — почему мне не дают? Я не хочу быть гражданином этого государства, хочу в другое, хочу без государства — почему нельзя? Наши родители создали государство, — а оно хочет думать за нас и приказывать, как жить. Я не хочу этого. Я человек и имею право не хотеть, если я не переступаю Божьего закона, никого не насилую и не убиваю. Почему же с детства у меня отнимают мое право? Почему меня заставляют убивать? — Он встает, большой, изломанный, — лохматая тень от него взметывается на стену и потолок.

Я длинно говорю, что все зависит от того, какие цели ставит государство и насколько эти цели выражают те или иные даже не желания, — они всегда будут разными, — а нужды, потребности всего народа. И от того, насколько, удовлетворяя эти потребности, государство может дать свободу обществу и отдельному человеку. Твердохлеб не удовлетворен. Никакие нужды народа не могут заставить его убивать. И отнимать у него право искать праведную жизнь, не притесняя других. Он прав, конечно, но что я скажу ему, чтобы успокоить? На лице Твердохлеба тоска, горечь, отчаяние, он идет, цепляясь ногами за жердястый пол, садится у печки на чурбак, подняв острые колени до подбородка и вяло положив на них руки со свисающими вниз длинными корявыми пальцами. Глядя в огонь, он горестно вздыхает:

— Нема правды на свити... — Камера опять погружается в тревожную тишину...

Дни идут, скоро и намеченный нами срок, три месяца. И словно смыкается круг, становится все теснее и тягостнее и не выйти нам из этого круга. Мысль вертится в нем, как привязанная, и все об одном: как это будет?

Я много слышал о расстрелах. В Бутырках вызывают в широкий коридор и вяжут вместе по пять, по десять человек.

Звериные крики рвутся из коридора, люди борются, их оглушают ударами, присоединяют к связкам и волокут эти связки, как баранов на бойне, туда, где их будут приканчивать выстрелом в затылок по одному. В Ленинградском ДПЗ вызывают в кабинет, протягивают руку, ничего не подозревающий человек протягивает для рукопожатия свою, — его хватают за руку, стоящий слева человек хватает за другую, тоже заводит за спину — и руки уже в китайских наручниках, без цепи, на одном шарнире, соединяющем браслеты, а во рту резиновый кляп. Человек мычит от ужаса, глаза у него вылазят из орбит, он конвульсивно дергается, но ничего не может сделать. Тогда ему читают приговор...

Меня вызвали в ДПЗ часов в одиннадцать ночи. Я еще не ждал приговора и шел по галереям, ни о чем не думая. В коридоре одиночного, пятого корпуса, где я сидел недавно, в темноте у стены цепочкой стояло человек двенадцать, понуро и молчаливо. С одной и с другой стороны — красноармейцы с винтовками; у надзирателей, поверх черных рубах — ремни и расстегнутые кобуры наганов. Недоумевая, — в тюрьму не входили вооруженные красноармейцы и у надзирателей никогда не было видно оружия, — я шел дальше, по темным переходам и лестницам, через одну, другую, третью и еще ряд решеток-дверей, которые отпирали и запирали дежурные.

Наверху в кабинете начальника резнул яркий свет. Почему-то было необычно много народа. Подвели к столу. Худой и невысокий человек в черном, с черной повязкой на одном глазу, встал рядом и сунул листок. «Постановление Тройки ПП ОГПУ в ЛВО... Приговорен к расстрелу, с заменой, по несовершеннолетию, десятью годами заключения в концентрационном лагере...» Одноглазый совал карандаш:

— Расписывайтесь скорее... — Я запротестовал: что за чепуха, кому расстрел, десять лет, в чем расписываться? Одноглазый нетерпеливо прикрикнул:

— Расписывайтесь, благодарите, что еще жизнь оставили! — Я черкнул на листке и только теперь заметил, что все они возбуждены.

Надзиратель повел обратно — за дверью я увидел, как входили замеченные мною в коридоре пятого корпуса. За нами только закрылась первая дверь-решетка, как позади кто-то крикнул, донеслись звуки ударов, молчаливой борьбы, возни, я обернулся, — надзиратель толкнул в спину и заторопил:

— Пошли, пошли, нечего оглядываться!..

Одни, говорят, борются до последнего, связанные, бьют ногами, пока их не оглушат. Другие теряют сознание, — их волокут, как мешки, и убивают, не пришедших в себя. Третьи держатся, но у них гнутся ноги, тело трясется, они безумеют и ничего не соображают, во власти смертного ужаса, — их ведут, поддерживая и подталкивая и убивают, как скот. Четвертые идут покорно, смирясь и что-то шепча. И только немногие встречают смерть с высоко поднятой головой, полные презрения к убийцам.

Как будет здесь? Придут ночью, — это черное дело требует ночной тьмы, — выведут, поведут в лес... Только подумаешь — судорожно сожмется сердце, обольется горячей кровью, тело затопит нестерпимая тоска. Я не хочу умирать!

Я убеждаю себя, стыжусь своего страха. Чем я лучше тысяч и миллионов ушедших этой же дорогой и тех, кто еще уйдет по ней? Моя судьба — только крошечная частица общей судьбы, это наше общее несчастье, мы все растворяемся в нем. Но разве те, ушедшие, не сжимались в таком же страхе? Они тоже не хотели умирать. И в этом нельзя слиться с другими, раствориться в толпе. Это ведь последнее, что есть у тебя и что отделяет тебя от всех, так, что ты один среди многих. Разве стыден страх перед тем, что у тебя хотят отнять жизнь? Разве преступно желание жить? Может, оно когда-то где-то становится преступным, но только не тут, не в этой камере.

Представляя, как это произойдет, иногда я боюсь, что не выдержу в последний момент, закричу, как кричат другие, буду биться, потеряю сознание. Смогу ли я управлять своим телом, приказать, чтобы оно выдержало до конца, до того, как я услышу неуловимый миг начала выстрела? В это время я еще буду жить. Мне хочется, чтобы я выдержал, устоял до конца. Но зачем? Что за забота? Кто увидит, как меня убьют, перед кем сдерживаться, перед кем геройствовать? Перед профессиональными убийцами, давно потерявшими человеческий образ, которых ничем не удивить? Перед самим собой? Но меня ведь больше не будет!..

Мысли путаются, наплывают одна на другую, обрываются и ноет сердце, щемит и гложет чувство о непоправимо испорченной, испоганенной жизни. Откуда это началось и не сам ли я виноват, что ничего не остается, кроме пули, которую пустят тебе в затылок? Почему?

Снова просматривается прошлое. Я возвращаюсь на шесть-семь лет назад. Ведь тогда, в школе, я был первым общественником. Меня всегда выбирали в ученические комитеты, я выпускал стенную газету, школьный журнал, был впереди. Хотел поступить в комсомол. Я должен был попасть если не в число тех, кто убивает, то хотя бы, стоя рядом с ними, я мог заблуждаться и не знать, с кем я заодно. Почему же я не попал к ним, если должен был попасть?

Меня оттолкнули. Мне было пятнадцать лет, когда меня назвали контрреволюционером и исключили из школы. Доучиваться пришлось в другой. Я не чувствовал себя виноватым, я знал, что я прав. Я протестовал против недопустимого нигде. Но я еще не знал, что это недопустимое допускали те, кто решил, что они могут безнаказанно властвовать над нами. Я покусился на их власть.

У меня закружилась голова, все надо было менять, все пересматривать, всю бестолковую, но неуемную веру подростка в новое, в будущее. Подо мной зашаталась земля. И я не скоро пришел к выводу: они присвоили себе право на насилие и этого нельзя терпеть.

Несколько месяцев я ходил по берегу Волги, под палящим летним солнцем, как в тумане, лихорадочно думая: что делать? Так же нельзя, — нельзя допускать. Я нашел себе дело, друзей и горячо взялся за него, еще не зная, что все наше старанье было меньше, чем выстрел из мелкокалиберной винтовки в слона...

Сидя в одиночке, в негнущейся казенной одежде, без дела, без книг, я думал, что сойду с ума. Прежде я и обедал с книгой, я не хотел терять ни минуты, — в одиночке уходили дни, недели, среди тесных стен, выкрашенных грязно-зеленой краской, из которых меня не выпускали и на прогулку. Я останавливался перед дверью, перед тупой, бессмысленной, окованной толстым железом дверью, и не мог понять: как это, я не могу открыть ее и выйти? Почему эта дверь закрыта и не пускает меня? Почему я не могу открыть ее? Дверь словно олицетворяла непостижимую тупую силу, которая почему-то держит меня здесь, без права на это, — права не обычного, записанного в толстых книгах законов, а высшего, без которого нельзя жить. Я отходил в противоположный угол, пристально смотрел на дверь оттуда, — чувство мое не рассеивалось, оно еще росло, превращаясь в огненное чувство большой неправды, неразга-

дываемой до конца. Это было жгучее чувство, оно заставляло действовать, все равно, как, — хотя бы биться головой об стенку, вскрывать себе вены... Такое же чувство, незадолго перед одиночкой, гнало меня к границе — я шел, сжимая в кармане тяжелую сталь ненужного револьвера...

После я думал: если бы тогда, когда я сидел в одиночке, среди них нашелся бы только один человек и он проявил бы ко мне внимание, обыкновенное человеческое участие, он мог бы переломить меня. Я ведь был еще сырым тестом, из меня можно было вылепить все. Они могли тогда приобрести себе сторонника, может быть, самого верного. Нужно было только одно: человечность. И я удивлялся: как это так, что у них ее не нашлось, что у них не оказалось всего одного человека? Это так немного. Потом уже понял: у них и не могло найтись человека. Если бы он оказался — все было бы по-другому. Никакого чуда нет. А мне тогда так хотелось этого чуда!..

Теперь я знаю: чуда не может быть. Но я ни о чем не жалею, ни в чем не раскаиваюсь. Мог ли я жить иначе? Разве от меня зависело жить так или по-другому? И если бы можно было повторить, разве не повторилось бы то же самое?

Я ни о чем не жалею. Я только не хочу умирать...

Твердохлеб вздыхает у печки:

— Нема правды на свити...

Нет правды для нас, нет правды для всех на земле. И эти слова, тысячи раз произносившиеся походя, тут, в наши последние дни, словно приобретают какой-то значительный, всеобъемлющий, пророческий смысл...

ЧУДО

Прошло уже больше трех месяцев, как дело отправили в Москву, а мы все еще ждем и все еще живы. Теперь это может произойти каждую ночь. И утром мы смотрим друг на друга, хмурые, позеленевшие, не сомкнувшие глаз. Еще одна ночь прошла.

Спать больше нельзя. Забываемся на час-два то утром, то днем, то вечером, тревожно открывая глаза: не идут? Особенно тяжело ночью, ночи тянутся, как вечность.

Мы теперь не ругаемся и мало разговариваем. Каждый замкнулся, ушел в себя. Один скажет слово, другой ответит, — и в камере опять непроницаемая тишина, слышно только потрескивание в печке. За стеной воют зимние ветры, метет метель, сыпет снег. А у нас насупленная, раскаленная тишина ожидания и мы мучительно вслушиваемся в нее...

Сквозь вой ветра — посторонний звук. Что-то жужжит, наверно с трудом преодолевая снег. Через минуту уже ясно: машина. Въезжает во двор, по стене через окно скользит луч от фар, остановилась. Мы оцепеневаем, боимся дышать. Страх леденит тело. Голоса, снова тихо. И вдруг слышим: гремит замок калитки. Входят к нам во двор. Поднимаются по ступенькам. Открывают дверь изолятора. Входят в коридор. Мы замерли, покрытые холодным потом. Пришли...

Неслышно отодвигается крышка волчка снаружи, чей-то глаз медленно обводит камеру. Встречается с моими глазами, — и я забываю, что главное — чтобы не было страха в моих глазах. В волчке темно — возникает второй глаз, за ним третий. Волчок закрывается, осторожно шаркают шаги, выходят, закрывают дверь, калитку, гудит машина — уехали. Мы бессильно валимся на койки. Сердце часто стучит.

Зачем они приезжали? И еще, и еще раз? Только посмотреть на нас? Неужели они не понимают, каково в эти смотры нам? Но разве можно ждать от них понимания, участия!..

Мы устали ждать до того, что временами впадаем в отупение. Все безразлично, и мысли о конце не жгут. Все равно. Лишь бы скорее. Но приходит минута — и пронзает неотвратимая, холодно-ясная мысль: может быть, этой ночью. И страстно хочется, чтобы ночь не приходила. Мы больше не можем управлять собой.

Прошел и январь. Пять месяцев, как дело ушло в Москву. Мы просидели бесконечность, ожидая каждую ночь. Когда же придет последняя?!

Утром, часов в десять, открывается дверь, меня вызывают. Куда? Зачем? Одеваюсь, выхожу. Конвоир выводит за ворота. Идем в Управление. Зачем я им понадобился, если дело давно решено? Доследование, мы получим отсрочку?

Солнце и снег по предвесеннему слепят глаза. По сторонам дороги — сугробы с головой. После темной камеры в глазах резь. Иду, машинально переставляя ноги, не радуясь ослепительному дню. Конвоир идет следом.

Вяло шевельнулась мысль: конвоир один — наброситься на него, попытаться выхватить винтовку? Из этого, конечно, ничего не выйдет. Я ослабел до того, что меня может свалить и ветер. И отсюда никуда не убежишь. Только для того, чтобы убили сейчас и не надо будет ждать? Мысль вяло шевельнулась и вяло ушла. У меня ни к чему нет воли.

Идем в Третий отдел. Жду в коридоре. Незнакомый следователь с молодым лоснящимся лицом, в ладно пригнанной военной форме, зовет в кабинет. В его комнатке — тоже яркое солнце в окне, больно смотреть. Следователь подходит к столу, достает дело, — какое оно толстое! — листает, находит нужную бумажку. Показывает пальцем, протягивает карандаш, буднично говорит:

— Читайте и расписывайтесь.

Печатный бланк в четверть листа, написано на машинке. Медленно, словно разучившись читать, разбираю текст. Он не задерживается в голове, скользит мимо сознания. «Выписка из протокола заседания Президиума ЦИК СССР». Ниже разделено пополам. Слева: «Слушали: заявление заключенного Андреева, приговоренного Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО к расстрелу, с заменой по несовершеннолетию 10 годами заключения в конц-

лагере, о замене остающегося ему срока ссылкой». Справа: «Постановили: ходатайство заключенного Андреева удовлетворить, остающийся ему срок заменить ссылкой. Выписка верна» — подпись.

Я ничего не понимаю, смотрю на следователя. С ноткой нетерпения он повторяет:

— Расписывайтесь!

Царапаю каракули. Следователь отодвигает папку, листает дальше. В конце находит еще одну бумажку, немного поменьше.

— Распишитесь и здесь.

«Выписка из постановления Коллегии НКВД. Слушали: дело заключенного Андреева, осужденного Тройкой ПП ОГПУ в ЛВО, остающийся срок которому Президиумом ЦИК СССР заменен ссылкой, по обвинению по статьям Уголовного Кодекса РСФСР» — перечислены все предъявленные мне статьи. Справа: «Постановили: за побег из лагеря заключить Андреева на три года в исправительно-трудовые лагеря с содержанием на острове Соловках». И нет никаких статей.

Я подписал, еще ничего не понимая, — а сердце уже рванулось, заколотило в ребра. Я еще был в оцепенении ожидания, — а сердце уже знало, что ждать больше не нужно!

Следователь открыл дверь, сказал конвоиру:

— Ведите обратно.

Теперь, словно тоже машинально, я пошел так быстро, что конвоир должен меня догонять. Мне надо было спешить, чтобы поспеть за вдруг сорвавшимся с мертвой точки сознанием — оно теперь бешено неслось и за ним не угнаться.

Я шел с широко открытыми глазами, еще мало что соображая — передо мной и во мне одна крутящаяся муть. Но это не безнадежная прежняя муть: она искрилась, расплывалась оранжевыми кругами, плясала, — и я почти задыхался от этого кружения, жадно глотал холодный воздух, захлебываясь им и пьяной радостью, которая несла меня. Ночей больше не будет, впереди сплошной день! Я буду жить!

Еще нельзя сообразить: что произошло? Откуда, почему вдруг раздвинулось небо и я отчетливо вижу теперь и этот сверкающий белокипенный снег и сияющее радостью солнце? А в мозгу уже цепляются одна за другую только-что прочитанные строчки, вспоминаются прожитые дни...

Месяцев десять назад, когда я в последней пересыльной

тюрьме, уходя в мечту, городил мир своих выдумок, однажды, повинуясь неведомому импульсу, я написал на клочке бумаги: «В Президиум ЦИК СССР. Заявление заключенного Андреева. Просидев половину срока, остающийся мне срок заключения прошу заменить ссылкой». Подписав, я положил этот клочок в конверт, написал адрес: «Москва, Кремль, Президиум ЦИК СССР». Одного из сотрудников бухгалтерии попросил наклеить марку и бросить в первый попавшийся почтовый ящик. Еще один кусочек нереального мира был создан — и тотчас же он распался, исчез и я накрепко забыл о нем, так, что потом никогда не вспоминал. И вот — он оброс плотью, принес мне жизнь!

Это же чудо, это невозможно! Я пугаюсь, боюсь верить, что только что подписал две бумажки, навеки отпечатавшиеся в мозгу. Я знаю, как пишутся такие заявления. Берут лучшую бумагу, пишут старательно, вкладывая в слова всю силу своей души, чтобы убедить или разжалобить, умолить. Заявление сдается начальству, оно прикладывает свои характеристики и не скоро отправляет в Москву, если отправляет вообще. Заявление попадает в Комиссию частных амнистий при ЦИКе, к одному из консультантов, он требует из НКВД дело, если требует: рассмотреть все заявления и дела не хватило бы никаких консультантов, чуть не все заключенные пишут заявления. Процедура тянется долго и только через полгода или год приходит ответ: отказать. Часто не отвечают совсем.

А у меня — несчастный клочок бумаги, восьмушка писчего листа, несколько небрежно нацарапанных строк. И нацарапанных в самом конце апреля, за три-четыре дня до первого мая. Мое письмо пришло в Москву не раньше, чем за день до праздника, — и все-таки оно попало на стол президиума ЦИК уже второго мая! Я хорошо запомнил число: второго мая прошлого года было это заседание Президиума ЦИК. Как моя восьмушка могла пройти все канцелярские рогатки, совершить такой чудесный головокружительный прыжок? Это непостижимо. Один из секретарей был в хорошем настроении, после вчерашнего парада на Красной площади, после выпитой вечером водки, и случайно заметил на своем столе только что полученную мою бумажонку? И почему-то решил сразу просунуть ее на заседание Президиума? Да простятся ему за это несчетные грехи! Или все они там в этот день в хорошем настроении и ищут, чем бы искупить свои злодейства?

Чудо, чудо, больше ничего не придумаешь! Я выиграл на трамвайный билетик жизнь! Я буду жить!

Я шел, как пьяный. Конвоир остановил, предложил закурить. Мы стояли рядом, скручивали папиросы и не боялись, ни он меня, ни я его. Он смотрел радующимися глазами: он уже знал, ему сказали в Третьем отделе. Им, наверно, тоже не сладко убивать или водить на убийство, выполняя приказы сумасшедших.

Двинулись дальше, скоро придем. И вдруг меня что-то толкает, останавливает, я замедляю шаг. А те, двое, Хвощинский и Твердохлеб? Я совсем забыл о них. Как я войду к ним, с моим сияющим от радости лицом, как взгляну им в глаза, что скажу? Что будет с ними? Почему мне объявили, а им нет? Я готов повернуть, убежать, чтобы не идти в нашу камеру.

Мысль снова понеслась. Если мне объявили, что я остаюсь, значит, нынешней ночью их убьют? Не может быть, чтобы мне приговор пришел, а Хвощинскому не пришел. Пришел и Твердохлебу. Им не объявили вместе со мной только потому, что у них смерть, а у меня жизнь. Иначе не может быть. Но зачем же мне объявили и ведут к ним же? Они теперь наверняка будут знать, что сегодня их убьют. Может, все же не убьют? Объявят после, когда меня увезут отсюда, и оставят их в этом лагере? Ничего нельзя знать, но невозможно же идти к ним с моей радостью! Как я скрою ее: она у меня на лице, в глазах, в движениях...

В коридоре встретил начальник изолятора. Лицо серьезное, без улыбки: тем хуже для моих друзей. Сказал, чтобы я скорее пообедал, — обед получен и стоит в камере, — и собрался: после обеда меня отправят отсюда. Куда? Начальник замялся, но все же сказал: «Поедете со спецконвоем в Соловки». У них уже все приготовлено.

Я вошел в темную камеру, как в склеп. Твердохлеб и Хвощинский метнулись глазами навстречу. Они сидели на койках, вытянув в мою сторону головы, и кажется не одними глазами, а всем телом жадно ждали. Я сдерживался, но сразу заметил, как изменился, погас взгляд Твердохлеба. Он мгновенно понял по моему лицу.

Нельзя молчать, надо говорить. Смущенно, спотыкаясь и увязая в словах, говорю: мне дали три года и сейчас повезут в Соловки. У Хвощинского вырвалось: «А мы?» Твердохлеб молча лег на койку и закрылся бушлатом с головой.

Давясь, я глотал суп и хлеб, опустив глаза. Было мучительно стыдно. Лучше бы ничего не объявляли, лучше не было бы чуда и я остался бы с ними до конца. Как я могу радоваться, если им еще ждать? Как жить, если они не будут жить? Как могу я оторвать себя от них, от наших общих ночей и дней?

А сквозь стыд буйно пробивалось: я буду жить. Животно ликовало тело: меня не будут убивать. Я — не с ними. Я корил себя за этот стыдный эгоизм, — сознание опрокидывало мои старания: все равно ничего не изменить.

Охранник стучит в дверь, торопит. Я смотрю на Твердохлеба, на Хвощинского и не знаю, как попрощаться с ними. Нет слов, подходящих к такому прощанию. Я хотел бы обнять их, но вижу, что они уже чуждаются меня. Я не знаю, и так и не узнаю никогда, что ждет их.

Хвощинский подкошенно садится на койку. Я глухо говорю: «Прощайте, друзья». Хвощинский сдавленно прошептал: «Прощай». Твердохлеб, с искаженным лицом, только махнул рукой, будто отмахиваясь от меня. Мертвым не до живых.

Во дворе ждет полуторатонка. Забираюсь в кузов. Рядом два конвоира. Старший конвоя сидит в кабинке, у шофера.

Машина трогается, выезжает за ворота. Прощай, лагпункт Пионерный. Прощай, изолятор. Я еще вижу нашу камеру, Твердохлеба, Хвощинского, — нет только меня. От этого давит тяжесть, голова уходит в плечи. Мне стыдно, что я остался жить.

Машина выезжает на укатанное шоссе, прибавляет хода, рвется вперед. Солнце во весь размах разбрасывает сверкающее серебро. И тяжесть понемногу снимается, перестает давить, становится будто более легкой. Она во мне, но не мешает теперь уже спокойно и сдержанно радоватьсья тому, что я еще долго буду видеть это солнце.

Глубоко вдыхая морозный воздух, на подскакивающей на ухабах громыхающей машине, глядя на серебряный лес по сторонам дороги, я знаю сейчас только одно: я буду жить...

ОГЛАВЛЕНИЕ

